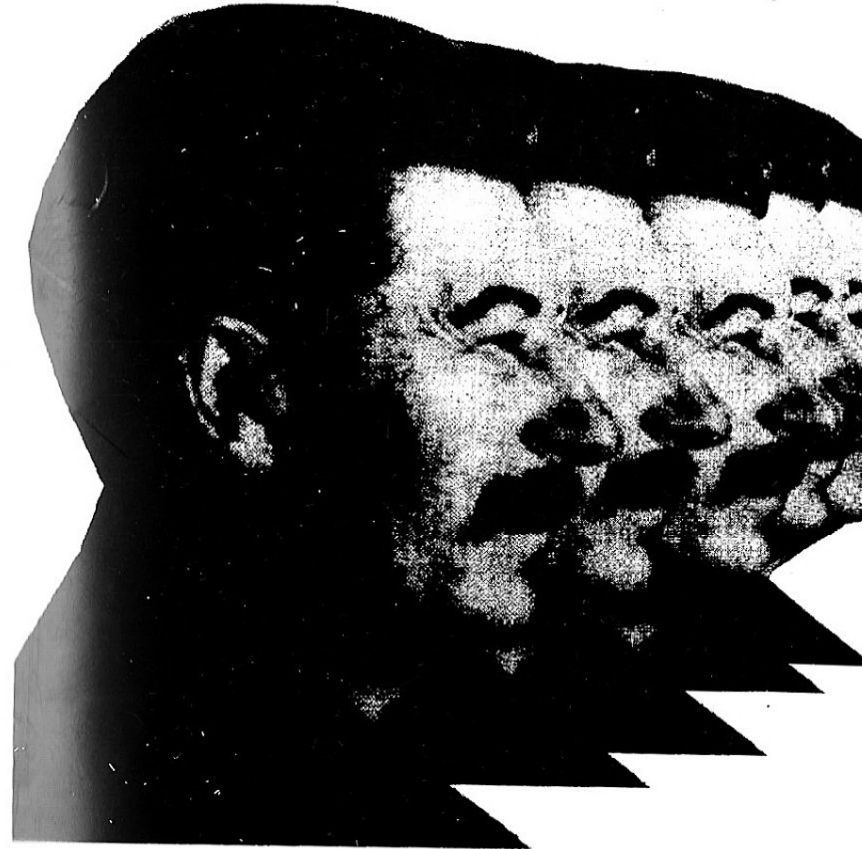




Александр Наумов <> СТО РАССКАЗОВ НЕ О СТАЛИНЕ <> Нью-Йорк, 1998

**АЛЕКСАНДР НАУМОВ**

**СТО РАССКАЗОВ**



**НЕ О СТАЛИНЕ**

АЛЕКСАНДР НАУМОВ

**СТО РАССКАЗОВ  
НЕ О СТАЛИНЕ**

Издательство «Киев» • Нью-Йорк, 1998

Александр НАУМОВ  
СТО РАССКАЗОВ  
НЕ О СТАЛИНЕ

Alexandr NAUMOV  
ONE HUNDRED  
SHORT STORIES  
NOT ABOUT STALIN

Copyright © by A. NAUMOV, 1998.  
All Rights Reserved.

Library of Congress Catalog  
Card Number preassigned is:  
98-091440.

Printed in the United States of America.

Набор, верстка, дизайн  
и техническая редакция  
Семена СМОЛЯРА

Рисунки художника  
Михаила БЕЛОМЛИНСКОГО.

## От автора

*Это действительно рассказы не о Сталине: Сталин здесь не фигурирует. Зато присутствует его время, в котором жили мы сами, или наши родители, или наши деды; время, частичкой которого мы были и во многом остаемся до сих пор: эпоха, увы, еще не изжитая и склонная то и дело возвращаться в старых или новых обличьях.*

*Большинство этих рассказов - изустного происхождения: они рассказывались автору, рассказывались автором, и лишь недавно извлечены из памяти и записных книжек. Сознанию свойственно трансформировать даже точные факты. Тем паче, если это сознание массовое, что-то обязательно меняющее от пересказа к пересказу. Так что и здесь не следует непременно искать точных исторических свидетельств. Это скорее образ времени. Но тем, может быть, они и покажутся интересны.*

## *Михал Иваныч*

Михал Иваныча очень любили в народе. Он не только выглядел единственным природным мужичком там, наверху; существовала вера, что он был главным народным заступником и даже пригрозил Хозяину своей отставкой в разгар коллективизации. После чего, дескать, и появилась статья «Головокружение от успехов». Эта репутация оставалась в целости и по смерти самого героя. По крайней мере, долго-долго еще, в очереди или в трамвае, можно было услышать любовно-ворчливое:

— Ну, ты, калининска бородка, давай, проходи...

Правда, всплывали изредка кое-какие клубничные подробности. Но что они могли значить на фоне такой репутации?.. Это уж теперь собрались упразднить Музей Михал Иваныча, да и то, пожалуй, из-за дефицита приличных зданий в столице. Мемориальная доска на стене бывшей его приемной красуется по-прежнему. Дефицита места для мемориальных досок пока не наблюдается, да и вырывать историю с корнем тоже не гоже.

В конце двадцатых годов почти все вожди, говорят, имели в Москве скромные квартирki, такие обиталища полухолостяцкого вида. Известно было, конечно — есть еще и дачи, но дача — дачей, а квартира — квартирой, это каждый понимал. На такой квартирке, из двух комнат, с тумбочками, шифоньером, никелированной кроватью, застеленной серым шерстяным одеялом, Михал Иваныч, со своим не то секретарем, не то помощником, принимал однажды делегацию ленинградских рабочих. Рабочие молча толпились — тут не походишь! — озирали все, с явным волнением ворочая головами, и Михал Иваныч, удовлетворенный, спросил:

— Ну, что, ребята, нравится?

Они сдержанно загалдели:

— Нравится, Михал Иваныч, нравится! — а один высокий, плотный, мрачноватого вида, сказал: — Ты уж извини, Михал Иваныч, не очень-то мы верили, что у тебя, всероссийского старосты, така квартирка, а теперь видим: и вправду вы так живете!

— Живу, а как же! — сказал Михал Иваныч и сам любовно оглядел стены.

Рабочие что-то забормотали мрачноватому, и тот выступил сова: — И еще извини, Михаил Иваныч... все нам у вас нравится... одно не по душе: вон та железяка, баба с парнем... нейдет она сюда... буржуйска железяка, ей-бо!

— Нет, ребята! — сказал Михал Иваныч. — Мне эта железяка как память дорога! Мне се немецкие рабочие из своих кандалов выковали! Так что извините...

Ну, еще поговорили, на том и кончилось. Михал Иваныч с помощником проводили гостей до лестницы, а когда вернулись в квартиру — железяки-то и нету!

— Ну, ты смотри! — сердито сказал Михал Иваныч. — Это что ж такое! Это если каждая делегация по одной вещи стырит, в квартире скоро одни обои останутся!

— Может, просто так взяли... пошутили? — сказал помощник.

— Пошути-или!.. Ты вот что: недельки две погоди, авось вернут, а нет — напиши им на завод: так, мол, и так, что за мода, из квартиры всероссийского старосты вещи тырить! Чай, не музей...

Через две недели помощник написал на завод.

Еще через несколько дней пришел коллективный ответ рабочих: «Дорогой Михаил Иванович! Очень мы довольны посещением вашей квартиры. Многие с нашего завода, как раньше мы сами, не верили, что вы так скромно живете. А теперь своими глазами убедились, и все<sup>сф</sup> товарищам рассказали, и все тоже очень остались довольны. А что до той железной бабы с мужиком, никуда мы ее не брали, мы ж се к вам в кровать положили, под подушку...»

## Первый избиратель

В конце сороковых один московский литератор работал секретарем Еврейского антифашистского комитета, который к этому времени, в каких-нибудь несколько дней, полностью пересажали. На работе он сидел один. Жил — вдвоем с женой в коммунальной квартире без телефона. Однажды, около семи вечера, он сошел с трамвая, направляясь к дому, и его взяли прямо на улице. Не дождавшись его в положенное время, жена очень взволновалась, раза два бегала к автомату, звонила ему на работу, но телефон там не отвечал, а больше справиться было уже не у кого. Муж не явился ни в девять, ни в одиннадцать, ни в полночь. Проведя ночь без сна, она в шесть утра, едва прозвенел за окнами первый трамвай, выскочила из дому, чтобы бежать... куда? Звонить, наводить справки... Ближний автомат уже не работал, она побежала дальше, мало что различая перед собой от отчаяния — и вдруг оказалась перед единственными в этот час на всей улице распахнутыми, освещенными дверьми.

Она вбежала.

Оркестр грянул туш.

Был день выборов, и ее приняли за первого избирателя.

## Блудный сын

Танцор он был замечательный. Прямо-таки вдохновенный. В зале только ахали и разражались аплодисментами, когда он выдавал свои немислимые прыжки — казалось, на ногах у него крылышки, как у Меркурия. Впрочем, еще более выдающимся был он бабником. Говорили, что в театре и поблизости нет женщины в мало-мальски приемлемом возрасте, с которой бы он не переспал. Его жена, прима-балерина театра, не только прощала ему все истории (а они все были ей известны), но и улаживала явные скандалы —

ведь, положив на кого-нибудь глаз, он уже ни перед чем не останавливался, так что иные приключения должны были бы кончаться уголовным делом... Почему прощала? Бог весть. Может, и сама была не без греха, или за его танцевальные и мужские достоинства, или просто — кодекс театральной жизни несоизмерим с обычными житейскими мерками. Так тянулось долго, но — сколько веревочке ни виться...

Приехала в театр из Ленинграда молодая пара, супруги, только что из училища, а уже лауреаты какого-то конкурса, талантливые, красивые, особенно она, и по уши друг в друга влюбленные. Ее-то наш бабник и взял на прицел. Лез на глаза, ходил следом, говорил сальности, пытался давать волю рукам — словом, не давал проходу. Она пробовала отбиться сама, мужа не вмешивала, чтобы не начинать театральную карьеру со скандала, но все вокруг косились, любопытствуя, скоро ли на сей раз завершится известная игра; и хотя муж вроде бы не замечал ничего, общая нервозность и ему передавалась.

Однажды после дневной репетиции наш волшебник сцены пошел в душ и в одной из кабинок, где шумела вода, угадал ленинградскую красавицу; дверца была из армированного стекла. Он ее рванул, крючок соскочил, и герой без раздумий бросился на обнаженную женщину. Она закричала. Выходивший как раз из соседней кабинки муж бросился на помощь. Завязалась жестокая драка, свалка клубком выкатилась из кабинки, сбежался весь кордебалет, рабочие сцены — словом, скандал перешел все допустимые пределы.

Главное, жена на сей раз отступилась; история была слишком уж явная и грязная, и примадонна, видно, поняла: неприятности, в случае чего, будут грозить и ей самой. Или просто у нее, наконец, исчерпалось терпенье. Перед назначенным комсомольским собранием виновник событий еще надеялся: дело, как всегда, кончится выговором... Но театр кипел, и собрание проголосовало: исключить из комсомола и требовать от дирекции увольнения. Это уже пахло катастрофой.

Оставался райком.

На бюро райкома он явился, внешне полный смирения. Обстановка кабинета была спартанская: два стола буквой

«Т», стулья и большой портрет Сталина на стене. Бюро заседало в полном составе, в том числе и одна молодая балерина из театра. Прославленного фавна прорабатывали на всю катушку; он терпел. Накал страстей, казалось, по-немногу остывал, и забрезжила надежда. Но когда пришел черед балерины, и она, чувствуя себя полномочной представительницей театрального коллектива, принялась разоблачать моральный облик нашего героя, он не выдержал:

— Ах, ты, с-сучка! — закричал он, вскочив. — Когда я тебя трахал, ты мне не то говорила!.. Где ж твоя, падла, комсомольская совесть?!.. Да ты — да ты...

— Ма-алчать! — крикнул секретарь райкома, стукнув кулаком по столу. — Эт-то еще что?.. Прекрати немедленно... Нет, товарищи, — обратился он к бюро, — товарищ явно ничего не осознал. Нич-чего! Предлагаю утвердить исключение.

Все, было, потянули руки — единогласно проголосовать, но тут наш герой повернулся вдруг к висящему на стене портрету, рухнул перед ним на колени, протянул обе руки и закричал с надрывом:

— Оте-ец!.. Ты видишь, как меня травят? Видишь? За что-о! Отец! Ты все видишь! Помоги-и!..

И бюро райкома в полном составе — встало.

Последовавшая немая сцена длилась не меньше минуты. Потом опомнившийся секретарь охрипшим голосом объявил перерыв.

Исключения так и не утвердили.

## *Очень краткая история*

Это — в самом деле очень краткая история того, как спятил один кремлевский охранник.

Дело было во время восемнадцатой партконференции; она шла к концу, готовили громадный концерт, и в программу включили сцену из спектакля Малого театра «Кремлевские куранты». Играть предстояло Дикому и Скоробогатову — беседу Ленина со Сталиным. Как-то вдруг

оказалось, что в кремлевском здании нет свободной комнаты, где бы им без помех подготовиться и загримироваться. Артисты сели в машину и отправились в театр. Возвращались они уже в гриме и, так сказать, войдя в роль. Когда машину остановили у Кремля, Дикий, вместо того, чтобы показать документы и пропуска (а может, их впопыхах и позабыли) полувывлез из машины и негромко, с ненавязчивым акцентом (вообще-то роль Сталина он играл без акцента, но тут требовалась полная достоверность) обратился к ближайшему охраннику:

— Таз-варищ! Надеюсь, ви нас пра-пустите!..

Охранник — чина и фамилии его история не сохранила — обомлел, вытянулся в струнку и, отдавая честь, выпалил что-то вроде:

— Тк тчно, тц Сталин!

Дикий удовлетворенно кивнул и полез обратно в машину. Охранник почти машинально, не глядя, сделал знак кому-то следующему «пропустить» — и тут вдруг понял, что упускает единственный в жизни случай, неповторимый счастливый шанс увидеть так близко, воочию, гения всех времен и народов. Повинуясь неодолимой внутренней потребности, стремительному порыву восторга, заглушившему доводы разума и субординации, он наклонился к уже движущейся машине, чтобы увидеть гения еще хоть на мгновение... и тут разглядел внутри еще и Ленина! И Ленин ему сказал:

— Спасибо, го-убчик!

От сверхъестественной неожиданности он замер — что-то у него в голове сдвинулось — и он сел на корточки.

Так, на корточках, говорят, его и увезли в психушку.

## Памятник

Сперва он именовался Монументом. Когда его сооружали, Вождь был еще жив, и за терминологией следили строго. Это уж потом, два с лишним десятилетия спустя, в городе воздвигли Памятник Дружбе Народов. Впрочем, если говорить честно, еще и в железную эпоху Вождя два тупика-аппендикса, отходивших от одной из центральных улиц, так,

к примеру, и назывались: «Первый коммунистический тупик» и «Второй коммунистический тупик». Но это к слову.

Вождь умер, и Монумент в одночасье, сам собой, превратился в Памятник.

Всю траурную неделю, пока по радио звучала одна похоронная музыка, к Памятнику шли нескончаемые колонны шествий. Громадная фигура в чугунном облачении Генералиссимуса стояла в центре обширного круглого сквера. Сквер был оцеплен, оставили лишь вход с одной стороны и выход с противоположной. Делегации заводов, фабрик, институтов, колхозов, совхозов, учреждений и общественных организаций шли потоком, с тяжелыми венками. Прошла и делегация еврейской общины, ей кричали из толпы: «А-а, гады, отравили, а теперь венки несете!» Оно и понятно: кремлевские врачи еще томилась в камерах. Впрочем, в отличие от самих похорон в Москве, здесь обошлось без трагических последствий.

Горестные дни прощания миновали. Оправдали московских врачей. Расстреляли нескольких следователей. А Памятник все стоял. Потом и Берию расстреляли. Памятник оставался на месте. Прошел Двадцатый съезд. А Памятник по-прежнему высился меж кронами сквера, мощный, грозный, тяжело придавивший гранитный постамент. Освобождали все новые тысячи зеков, газеты печатали жития невинно убиенных. А Памятник возносился ввысь, пока, наконец, глухой и душевной июльской ночью в пустой сквер, предусмотрительно все же оцепленный чекистами, не пригнали могучий башенный кран с командой рабочих и не принялись снимать Вождя с пьедестала. Весь город, казалось, спал, но едва в сквере принялись за работу, со всех сторон набежали люди. Чугунную фигуру опутали мощными тросами, и кран, кряхтя и напрягаясь, попробовал сдвинуть Генералиссимуса с места. Не тут-то было. Вождь стоял непоколебимо, словно пустил в гранит чугунные корни. Попытку повторили несколько раз; толпы людей росли; кран дергался впустую. То ли успели уже позабыть, какой мощности техника возносила Вождя на постамент, и привезли не тот кран, то ли, может быть, поднимать на пьедестал вообще легче, чем снимать с него — не знаю.

Центр ночного сквера, снизу, словно из преисподней, освещенный мощными прожекторами, ярое противостояние двух великанов — неподвижного черного идола и нервно дергающегося башенного крана, мельтешащие внизу черные фигурки — все это казалось адским спектаклем молчаливой толпе за пределами освещенного круга.

Наконец, тросы перецепили заново, за шею скульптуры, кран напрягся из последних сил... и огромная фигура накренилась! Ночной сквер выдохнул, как один человек. Черный Вождь едва заметно пополз по граниту, сдвинулся в пустоту... и, очутившись в воздухе, вдруг рванул стрелу, кран затрясся, а фигура Генералиссимуса, словно чудовищный маятник чугунной бабы, пошла прямо на толпившихся в темноте зрителей; не догнав этих, она понеслась назад на других. На площадке у постамента, по счастью, никого не задело, только молодое деревце сломалось и упало, ни на секунду, впрочем, не застопорив страшный снаряд. Люди разбежались с криками ужаса, а чугунный гений гнался за ними, почище любого Медного всадника, взад-вперед, взад-вперед, как бы надеясь совершить последнюю расправу...

Кран качало; казалось, он вот-вот упадет; удержался он чудом. Ярость страшного истукана постепенно гасла.

Утром по городу стремительно поползли слухи. Весь день люди приходили в сквер. Постамент действительно пустовал, но в остальном никаких следов ночного действия не оставалось. Даже от сломанного деревца не осталось следа, словно ничего тут и не росло. И, как всегда, полукругом напротив постамента, располагались приветливые скамейки.

Под вечер скамейки заполнил обычный люд, пришедший подышать. Пришла и молодая женщина с трехлетним мальчиком. Мальш шел очень спокойно, пока не поднял глаз на постамент. Тут он замер, потом вырвал у матери руку и побежал вперед с криком:

— Куда дели Ленина?!..

Люди на скамейках переглядывались. Мать смущенно объясняла, что ребенок, мол, дитя новой эпохи, и как ему показали однажды скульптуру Ленина, так он теперь и называет всякую скульптуру... А мальш обегал скамейки все

с тем же громким вопросом. Сидящие растерянно, молча улыбались ему в ответ, он бежал к новой скамейке и, все так же разводя ручки, отчаянно спрашивал:

— Куда — дели — Ленина?!..

## Раскрыл

Отец говорит сыну:

— Володенька, вот, ты говоришь, вам рассказывали в школе про Павлика Морозова — ты как считаешь, правильно поступил Павлик, что донес на отца?

— Не донес, а раскрыл!

— Ну, хорошо, раскрыл... Так правильно он поступил?

— Конечно, правильно!

— И если бы я что-нибудь такое сделал... ну, что-нибудь... ты, значит, и меня бы «раскрыл»?

— Конечно!

Отец мгновение молчит, обескураженный, потом спрашивает:

— И маму бы значит, «раскрыл»?..

— Маму — нет!

## Хороший человек

— Я зам-чательный старый поэт нашел — меня за горло взяли. Все читают — «Ах!» говорят, а потом: «Не-ет, нельзя! Твой Махмуд — кто? Святой! Паломники ходит! Нельзя-а... » Слушай, а кто такой «святой»? Раньше хороший человек был — как его назовешь? Вождь — не назовешь, президент — не назовешь, генеральный секретарь — не назовешь... святой называли! Мазар ему не царь строил — народ строил, за счет народ... Бедный люди па капейка собирал, кирпич жгли, строил... Если на кладбищ святой мазар нет, никто не хоронит. Кладбищ — это дело моральный, нравственный. А в такой мавзолей зайдешь — действительно, думаешь, умирать не так страшно, лежишь хорошо, тихо... Это же не руко-



творный слава — местком-профком такой не сделает, хороший человек — не выборный должност. И царь такой почет не бывает — царь, наоборот, сами убивали — бывал же так? А святой хоронили почетом. Раньше мы верили Сталин, мавзолее положил — а теперь что? Сталин нет, Бог нет, пророк нет — хороший человек остался!

## Песня

Урок развития речи в школе для умственно отсталых детей. Преподаватель показывает всем картинку:

— Это какое время года?

— З-з-зима!

— А какое время суток?

— Н-ночь!

— А кто это сидит?

— В-волк!

— А что он делает?..

Заминка, потом два голоса:

— П-песню п-поет...

— Та-ак... А какую песню? — вопрос задан с расчетом, чтоб ответили «волчью», но это никому не приходит в голову, и в ответ — полное молчание. Никто не знает, какую такую песню может петь волк на картинке.

— Ну же, ребята! Какую песню волк поет?.. Карташев!

Карташев встает и говорит нерешительно, после паузы:

— Ш-широка с-страна моя родная...

## Тайный агент Вася

Не могу вспомнить, в каком отделе он числился до того, как мы оказались в общей с ним редакционной комнате — партийном, сельхозе, пропаганде? Все отделы равно старались от него отделаться — простите за невольный каламбур. Действительно, более совершенного бездельника я

в жизни не встречал. Приходил он утром, усаживался за свой угловой, центральный в комнате стол (тоже для него характерно), разворачивал одну из принесенных газет и принимался читать, изредка шелестя страницами. За первой газетой следовала вторая, третья — до самого обеда. После обеда делать уже оказывалось решительно нечего, но это его не пугало: он мог спокойно просидеть до конца дня, положив локти на стол, даже молча, если никто не проявлял желания перемолвиться словом. Чужую занятость он уважал и сам с беседой никогда не навязывался.

Из меня и одной сотрудницы отдела писем сформировали так называемую литературную группу при секретариате: она отбирала подходящие письма, я должен был стряпать по их поводу нечто проблемное. Были мы сами по себе, конкретного шефа не имели, некому было и отбояриться от Васи, когда его нам спихнули. Правду сказать, и вреда от него не было — даже некоторая польза: никто, как он, не умел выпроваживать назойливых или непонятливых посетителей, а такие липнут к редакциям, как осенние мухи. Вид у Васи был на редкость внушительный: огромный, толстый, с обширным, квадратным, грубо вылепленным лицом, он на любого входящего неизменно производил впечатление главного здесь человека. Впечатление подтверждалось его тяжелым басом — и тоном, предельно беспрекословным. Он незамедлительно давал ответ на любой вопрос посетителя, после чего молча смотрел на него круглыми глазами: тот в конце концов тушевался и, помявшись, уходил, если никто из нас не вмешивался.

Когда я с Васей познакомился, он, по моим тогдашним понятиям, был уже стар, хотя на самом деле лет пятидесяти пяти, не больше. Тридцать с лишним из них он проработал в журналистике — сотрудником газет, корреспондентом телеграфного агентства, даже, кажется, недолгим редактором какого-то ведомственного журнальчика. Анекдотов о нем рассказывали множество. Тот, который мне вспомнился, характерен столько же для Васи, сколько и для времени, которое держало его на плаву.

В конце тридцатых Вася был корреспондентом ТАССа (верней, его узбекского отделения, УзТАГа) по Ферганской

области, жил в Фергане и пил без просыпу. Изредка очухиваясь, брал из местной газеты несколько информации и передавал в Ташкент. Его не раз требовали к отчету, но он выворачивался — то врал, что болен, то передавал через кого-нибудь, что уехал в командировку по области, то просто не поднимал трубку телефона. Наконец, ему передали категорическое требование прибыть в Ташкент такого-то ближайшего числа, не то будет он немедленно уволен. Делать нечего — оформил Вася командировку, получил деньги и за два часа до отхода поезда отправился на вокзал. Там, однако, раньше билетной кассы встретился ему буфет: он зашел на минутку — и опомнился, только смутно расслышав объявление об отходе. Купить билет уже не только времени не было — и денег не осталось. Он выбежал на перрон, секунду помешкал — и твердым шагом вошел в вагон. Свободных мест было много, Вася расположился на первом попавшемся. Поезд тронулся. По вагону пошел проводник, спрашивая билеты. «Ваш?» — сказал он, дойдя до Васи. «У меня билета нет!» — равнодушно сказал Вася своим грубым, гулким басом. «То есть как?..» — спросил проводник. «А вот так!» — и Вася нахально посмотрел проводнику в глаза. «Ну тк... придется платить...» «И платить не буду!» — сказал Вася. «То есть как это? — проводник от такой наглости даже растерялся. — Вы, что, не знаете — поезд даром не везет?..» «Допустим, знаю,» — сказал Вася. «Ну?..» «Подковы гну!» «Ах ты... да я тебя ссажу на первой станции!» «Попробуй, ссади!» — сказал Вася и слегка приподнялся. Проводник был ему по плечо: он повернулся, выскочил из купе, помчался по коридору, а несколько минут спустя возвратился с начальником поезда, и вся сцена повторилась с небольшими разночтениями. Раскаленные добела железнодорожники наперебой грозили Васе нарядом милиции. «И скинут тебя за милую душу, наглеца!» — кричал начальник.

Тогда Вася, глянув на них долгим взглядом, полез в карман, достал удостоверение красного цвета, на котором золотыми буквами выгеснено было «ТАСС-УзТАГ», прикрыл пальцем «УзТАГ» и сказал грозным шепотом:

— Видели?.. ТАСС! Тайный агент Советского Союза!.. Оба железнодорожника глянули, побледнели — и, пятясь, натываясь друг на друга, молча выбрались из купе. Больше, до самого Ташкента, Васю не беспокоили.

## *Первый секретарь*

— Кто в Хиве не бывал — тот Востока нашего не видел. Не то чтоб древностей тут чересчур — нет, в Бухаре, в Самарканде памятники куда старше, здесь-то все больше девятнадцатый век. Зато — в куче. И старый город — в своих стенах, даром что кой-где порушены: и дом стоит к дому, и мечеть к мечети, и дворец к дворцу, все, как было, ничем не разбавлено, никем не перестроено... Целый город! — это я, конечно, о верхнем говорю, об Ичан-кале. Туда после революции водопровод пробовали провести — так весь холм проседать начал: водопровод и убрали. И если уж работает на какой-то улочке кузня — не сомневайтесь, она тут спокон веку помещалась.

Я там не раз бывал. Дела-то меня больше в Ургенч приводили, но на денек, бывало, всегда вырвусь в Хиву. Бальшее удовольствие.

Первый раз приехал я в Хорезм лет двадцать пять назад. Тогда всякая древность меня привлекала: и особый интерес имелся. Ударился я в собирание монет, и были, видите ли, нужны мне дозарезу кой-какие медяки Хорезмской народной республики. В Хивинском же музее, говорили, медяков этих — мешки! Я кое-что привез на обмен, и ургенчский приятель пообещал свести меня с тамошним нумизматом. Приехали в Хиву утром, огляделись, походили по Ичан-кале. Потом и к нумизмату зашли, в музейную его каморку. Нумизмат, местный уроженец, показался мне мужичком деловым. До обеда, говорит, я занят, у нас ремонт начинается, а я же — замдиректора по ремонту. Вот после обеда...

— Может, пообедаем вместе? — говорит мой приятель.

— Можно!.. — отвечает. — А в нижнем городе, в европейском дворце — уже были? Нет? Сходите! Здание интересное. Немцы-колонисты строили...

Мы и пошли.

Снаружи здание — ничего особенного: обычное европейское строение колониальной поры. Зато внутри — несколько залов, стены — в цветной плитке, узор везде другой; ковры роскошные. А главное — печи: такими изразцами облицованы — глянешь и ахнешь! Их специально из Голландии заказывали — изразцы эти. Стенды мы уж особенно не разглядывали: ну, что там — оружие, инструменты, документы, мура всякая... Но в последнем зале две витрины меня привлекли. В одной — платье распялено: широкое такое, длинное, рыжее от старости. И — написано: платье такой-то героини Худжума, то есть борьбы за раскрепощение женщин. Она свою паранджу сорвала и в костер кинула, а ее за то саму сожгли. Господи, думаю, и вправду, какие страсти бушевали... одно непонятно: как это — ее сожгли, а платье осталось?.. Да. В другой витрине — как везде, разные мелочи, но одна почему-то в глаза мне бросилась: очки в ржавой железной оправе. Чем-то они выделялись. Наклонился, читаю: «Очки первого секретаря ЦК компартии Хивы Кабулова...» Ниже на витрине, среди прочего, такой же футляр ржавый — и подпись: «Футляр от очков первого секретаря...» Первый он был явно не только по должности — по времени. Грустно мне сделалось: вот что осталось от человека, а ведь был же, да еще и первым был... Да.

В час мы встретились с нумизматом, в ближайшей столовке с гордым названием «Ресторан Восток» распили бутылку, съели по порции коронного блюда — пельменей с яйцами — и пошли в Таш-хаули, старый ханский дворец в Ичан-кале.

Двор в Таш-хаули большой, просторный — это и не двор был, а открытый зал для приемов. В айванах располагались экспонаты музея, но теперь-то их снимали, сдвинули с мест, все стояло, лежало, валялось в беспорядке. Несколько человек в серых служебных халатах что-то куда-то лениво полочили.

— Ремонт... — вздохнул нумизмат. — Все в хранилища убираем... — и вдруг взгляд его хищно устремился вперед.

Через зал медленно хромал странный такой, болезненно поджарый человек, в изношенной шинели до пят, в сломанной фуражке. И лицо узкое, искушенное, вроде как и не местного уроженца.

— Кабулов! — грубо закричал нумизмат. — Чего бродишь? Бери, неси вон тот столик!..

Человек в шинели оглянулся, так, знаете, заторопился суетливо, поискал глазами «тот столик», подхватил — и попсс. Еле-еле. А нумизмат к нам поворачивается и говорит тоном экскурсовода:

— Кабулов... самый первый секретарь ЦК Хорезма!..

— Ка-ак? — спросил я, потрясенный. — У вас же, в музее...

Он не понял:

— Ну, да, у нас, в музее... Рабочим взяли. Сидел, знаете, двадцать лет, вернулся, пенсия ма-ленькая... Вот и работает.

— Его, что ж, не реабилитировали?

— Почему! Реабilitировали... В партии только не восстановили... — Он прочел у меня в глазах немой вопрос и добавил:

— Дело-то давнее! Кто его знает, чего там было! Теперь разве разберешься? Может, и было чего... Кому охота грех на душу брать?

Старик тем временем почти доковылял до дверей хранилища, но прислонился к стене, замер на мгновение — жутковатый такой живой экспонат. Я снова взглянул на спутника нашего — он поехал под взглядом и сказал бодренько:

— Пошли, пошли в хранилище, поглядим монетки!..

## *Песня про котят*

Маленькая Галя пошла в детсад — против ожидания, с охотой, с интересом: возвращается домой, однако, скучноватая, жадно торопится в свой уголок, к игрушкам.

— Галенька, чем вы сегодня занимались в саду? — спрашивает отец.

— Сегодня?.. Учили песню про котят...

— А еще?

— Говорю — учили песню про котят!

Мать назавтра спрашивает о том же.

— Песню учили — про котят...

Так продолжается и три, и пять, и восемь дней.

Отец говорит матери:

— Слушай, что это за песня про котят, которую они учат уже вторую неделю?..

— А что ты меня спрашиваешь! Спроси ребенка...

Отец идет к Гале:

— Доченька, а ты уже эту песню... про котят... выучила?

— Выучила... — говорит Галя, озабоченно разворачивая только что спеленутую куклу.

— Может, спосшь нам?

— Спою, — говорит Галя и громко затягивает:

Котят ли русские войны...

## *Сталинская премия*

Михаил Иванович Ш., корифей русской литературы Узбекистана, автор многих томов, столь объемистых, что, учитывая их тиражи, они могли бы запросто выполнить годовой план среднего кирпичного завода — был в действительности редким знатоком и свидетелем истории края, хранил в памяти и картотеке несметное множество историй, фактов, имен, лиц, подчас напрочь уже всеми забытых. В летние месяцы, в ожидании задерживавшейся в городе семьи, он жил иногда на своей даче один и столовался в доме творчества. В столовой мы и встречались. Я приходил на обед поздно, он задерживался за своим столиком, может быть, стосковавшись по разговору; и, отодвинув в сторону тарелки, предавался какому-нибудь и впрямь любопытному рассказу. Однажды я не удержался и сказал, что на его месте отложил бы очередной роман и

написал воспоминания — потомки за то были бы весьма благодарны. Прозрачный намек на отношение потомков к его художественной прозе он проигнорировал, пожевал губами и сказал с грустной озабоченностью:

— Роман ведь, знаете ли, тянет... а времени — мало...

Времени, действительно, оставалось мало: ему было уже далеко за восемьдесят. И я тем паче дивился: отчего он все-таки не пишет воспоминаний? Потом понял: ему даже на бумаге страшновато было встречаться с иными из своих современников; к судьбе многих из них он приложил руку.

Проникать в эти тайны мне не доводилось, и оттого рассказы Михаила Ивановича казались вдвойне интересны. Конечно, они приподнимали занавес лишь самую малость; и все же, если поразмыслить, время открывалось в них во всей наготе.

— В сорок втором, знаете ли, работал я в ЦК, — рассказывал он однажды, — но по старой памяти считался одновременно и корреспондентом «Правды». И вот осенью, под вечер, звонит Москва: Михаил Иванович, нужно срочно интервью с Яном... «С Яном?» говорю. Да, да, говорят, с Яном, ему сегодня дали Сталинскую премию. Без интервью выйти не можем! Выручайте!... Ну, не откажешь, знаете ли... Яна я знавал — был редактором его книжки в Ташкенте. Но где живет — понятия не имел. Ташкент набит эвакуированными, как бочка сельдью, адреса у всех временные, поди сыщи... Позвонил, попросил навести справки. Понимаю: раньше одиннадцати из ЦК и на минуту не вырваться; но как раз в одиннадцать сообщают адрес: улица Каблукова, дом не то тринадцать, не то пятнадцать... Машину, однако, лишь в полночь дали. Неудобно, конечно: но, думаю, война все же, да и весть какую везу!... Словом, поехал. Улицы темные, ни фонарей, ни окон, еле мы с шофером отыскали тринадцатый номер, еле достучались — нет здесь такого, говорят!... Пошли в пятнадцатый. Да, говорят, живут такие, однако, спят они... Вон там, на стеклянной терраске. Тронули дверь на террасу — не заперта. Входим. Зову: «Василий Григорьевич!» Молчание. Снова зову. И вдруг из темноты, снизу откуда-то, встают три белых виденья. Я, знаете ли, сразу даже оторопел... Потом

понял: ночные рубашки!... Длинные такие, до пят... а в них Ян и его две дочки. И голос, дрожащий, срывающийся: «Кто... кто там!» Я говорю: «Василий Григорьевич, это я, Михаил Иванович, ваш редактор...» А он в ответ: «Но за что? За что... я же ни в чем не виноват!...» «Да что вы, — говорю, — причем тут виноват, вам Сталинскую премию присудили, понимаете? Ста-лин-скую пре-мию!» А он: «Присудили... но за что же... за что же... ни в чем не повинен!» Так мы с ним объяснялись минут пять. Наконец, он уразумел, в чем дело. Уразумел — и хлоп в обморок! Еле отходили, еле воду во тьме отыскали, чудом валерьянку нашли. Да-с. Какое там интервью! Сам сочинил, по своему разумению.

Напечатали, знаете ли...

## Гимн

Долорес Егорова, аспирантка МГУ, жила в высотном общежитии с трехлетним сыном. Была она светлой, привлекательной блондинкой лет двадцати восьми. Жизнь, однако, не задалась: развелась с мужем, отчего, возможно, и кинулась в аспирантуру, обрета временный статус и жилье в Москве. Отец ее, представитель некогда славной красной профессуры, погиб в тридцать восьмом, мать вернулась из лагеря в пятьдесят пятом и теперь жила в южнорусском городе, откуда уехала в Москву и сама Долорес. Имя это было дано, разумеется, в честь Ибаррури; Долорес старалась в обиходе скрыть его за уменьшительным «Дола».

Жизни в общежитии шел второй год. Соседка по блоку большую часть времени отсутствовала. Напротив обитал коллега по кафедре Степан, бывший боксер. Он допоздна сидел в библиотеке. В их конце коридора было малоллюдно и тихо. К концу октября, однако, этажом ниже, прямо под комнатой Долорес, поселился некий француз из Лиона, коммунист на стажировке. Был он жизнерадостен и шумлив, а слышимость между этажами превосходила акустику лучших концертных залов. Днем француз, впрочем, тоже

отсутствовал, зато ближе к вечеру, примерно к шести, симфония производимых им звуков набирала мощь с каждым часом. Уложить спать ребенка сделалось проблемой. Крещендо наступало к полуночи. За минуту до двенадцати француз на полную мощь включал сундучок репродуктора, почтительно выслушивал гулкую пустоту Красной площади и бой часов Спасской башни; затем вместе со вступавшим оркестром запевал гимн и громовым голосом исполнял весь его исконный текст. Ребенок, как правило, просыпался. Успокаивая малыша, Долорес и сама дрожмя дрожала, особенно, когда приближалось сакраментальное:

Нас вырастил Сталин на верность народу,  
на труд и на подвиги нас вдохновил...

Но Гимн есть Гимн. Протестовать как-то дико. И француз, иностранец, не поймет, и наша комендантша — тем более; у комендантши на Долорес и без того зуб — ребенку в общежитии проживать не положено.

И Долорес терпела.

Ребенок простудился, заболел. Весь вечер хныкал, едва задремал уже около полуночи. И тут, как всегда, грянул гимн. Мальчик снова заплакал; расшвирипевшая Долорес, не в силах больше терпеть, схватила стоящую за шкафом швабру и трижды стукнула ручкой об пол. Пенье внизу оборвалось: там, казалось, прислушивались. Потом и радио отключили. Слава те, господи! подумала Долорес и принялась убаюкивать маленького. Минуты три спустя в дверь блока постучали. У Долорес упало сердце: неужели пошел, пожаловался?... Она со страхом вышла из комнаты, открыла дверь в коридор. Там стоял француз — элегантный, при галстукке.

— Мадам!... — начал он удалым тоном, но разглядел в полутьме прекрасную блондинку, и голос сразу обрел бархатные интонации, словно смазанный кремом. — Ви меня зваль?...

— Н-нет... — пробормотала Долорес, лихорадочно размышляя, что же ему сказать, чтобы не вышло неловкости. Про гимн? Или что мальчик болен?...

Француз истолковал ее нерешительность по-своему. — Зваль, зваль, мадам! — сказал он, обольстительно улыбаясь. — Я слышал, ви мне стучаль... — и в полуночном пылу, пред лицом прекрасной соседки, проявил понятную мужскую инициативу: шагнул через порог. В тот же момент Долорес, полная, напротив, решимости его не впустить, шагнула навстречу, и они столкнулись. Француз больно ушиб нос о лоб Долорес, инстинктивно сделал шаг назад и попытался скрыть боль улыбкой: — О, пардон, мадам, миль пардон...

Долорес тоже чувствовала неловкость и решила, наконец, объясниться. Она хотела сказать, что мол, так поздно петь гимн у нас не принято... или еще что-то в этом роде...

— Понимаете... товарищ... месье... гимн...

Француз неожиданно оживился, прямо-таки воспрянул. Он и про боль забыл:

— О мадам! Гимн! Я так и думаль! Это гимн... на вас так... действует! Сейчас я зпою знова! — и не успела она звука издать, как он в полный голос запел тот самый, наиболее трогательный кусок:

Нас вырастить Сталин на вьерность народу,  
на труд и на подвиги нас вдохновиль!...

Долорес замахала руками, пытаясь его остановить, но он вдохновенно тянул и тянул бы свое, если б дверь напротив с резким стуком не распахнулась и на пороге не возник Степан — в одних трусах и во всеоружии боксерских мышц. Степан сразу и верно оценил ситуацию; он схватил француза за плечо, повернул к себе и сказал трубным голосом:

— Ты, шо, спятил?!... Люди спать!...

Во французе проснулся галльский петух. Он вырвал плечо, отскочил на шаг и закричал:

— Не смеит трогать!

Степан уяснил, что перед ним иностранец, и чуть сбавил тон:

— Не ори, — сказал он довольно миролюбиво, — и никто тебя трогать не будет!...

— Я не ори! Я пой националь гимн!...

Тут в Степане пробудилась своеобразная национальная гордость:

— Вот и пой свой! — крикнул он. — А наш не трогай!

— Ви меня не трогай! — кричал француз.

Степан принял боксерскую стойку:

— А я тебя трогаю? — прорычал он и двинулся на француза.

И тут француз выпрямился и запел марсельезу.

При звуках марсельезы Степан и Долорес замерли, француз же гордо допел первый куплет, потом повернулся к ним спиной и с пением пошел по коридору к лестнице.

Тем история с гимном и завершилась.

## Раиса Петровна

Раиса Петровна — еще действующее лицо. Что я говорю — «еще»! Ей хоть и под пятьдесят (с виду не дашь), но она именно что в полном расцвете: и карьеры своей, и женской прелести. Это чуть полноватая, но, на вкус многих, весьма аппетитная брюнетка с пышными губами, ярким цветом лица и большими, навывкате, настойчивыми глазами. Может, в глазах-то главная сила и есть: такая в них завидная уверенность в себе и своем праве на блага этого мира.

Это, впрочем, свойство скорее социальное: Раиса Петровна — номенклатурный работник. На партийную работу она перешла с профсоюзной, выбившись некогда из обыкновенных профторгов на трикотажной фабрике, где начинала работницей. Фамилия тогда у нее была другая, девичья: Сякина. Теперь она — Романова. По мужу.

Так уж вышло, что еще в профсоюзе Раиса Петровна пошла по линии культуры, хотя вообще-то к культуре отношения не имела. Но, видно, место было свободное

именно по линии культуры. Образование у Раисы Петровны самое что ни на есть среднее. То есть как у всех. Потом она еще кончила школу профдвижения и университет марксизма-ленинизма. Ну, а на работе — много чего узнала. За годы-то!.. Век живи — век учись.

По должности, например, она множество раз сопровождала иностранные делегации в музей изобразительного искусства. Когда-то — может, в первое такое посещение, может, во второе — в отделе икон она спросила экскурсовода:

— А икон до рождения Христа — у вас нету?

Оказалось, нету. Оказалось, даже и не было... Ну, не было — и хрен с ним. Но Раиса Петровна сразу усвоила: вопросов не задавать. На всякий случай. Чтоб не ставить музей в неудобное положение. Потом-то, побывав в музее этом, кто там помнит, раз пятьдесят, а может, и все сто, она уже наперед знала и все картины, и что экскурсовод будет лепетать. Мало того, даже сама сделала некоторые наблюдения. Недавно привела очередных иностранцев, а тут непорядок: экскурсоводов свободных нет...

— Ну, ничего, — благосклонно сказала Раиса Петровна музейному директору, — сегодня я сама поведу...

И повела. Первым делом в итальянский зал пошли. Раиса Петровна говорит:

— Вот это, видите — мадонна с младенцем... и это мадонна с младенцем... И это тоже — мадонна с младенцем! И, обратите внимание: все — мальчики...

В общем, хорошо прошла экскурсия, иностранцы остались довольны.

По линии литературы Раиса Петровна тоже много чего разузнала. Все мировые, можно сказать, образы, от золотой рыбки до Фауста — все у ней на языке. Пришли к ней из второй музыкальной школы: который год уж просят помещение, инструменты им нужны, зарплата для трех учителей требуется... Раиса Петровна слушала, слушала, потом говорит:

— Ну, вы прямо, как золотая рыбка: все вам дай, дай, дай! Нельзя ж такими иждивенцами быть...

Или вот встретила на одной выставке известного местного плакатиста Сеню Профетова. Она ему вообще покровительствовала, нравился он ей: и красивый, и умный, и способный, и на все, как надо, откликается.

— Что это тебя, — говорит, — давно у нас не видно? Ты, что, как Дон Жуан, от женщин бегаешь?

И, кстати, тут же, на выставке, высказалась об одной скульптуре:

— Да он, как Фауст, на одной ноге стоит!..

Ну, понятно, перепутала Фауста с аистом. С кем не случается. Но главное ведь что: и Фауста знает, а это уже дорогого стоит!

Был еще эпизод: назначили Раису Петровну директором музея Достоевского. Открылся у нас такой музей — Достоевский у нас тут не то женился, не то развелся, не то написал чего. Словом, музей открыли, а подходящей кандидатуры в директора нету. Подумали, подумали — и назначили Раису Петровну:

— Иди, — говорят, — надо...

А в городе как раз подписка на Достоевского прошла. Тридцать томов. Звонят ей из подписной конторы: подписка, мол, прошла, но у нас есть в резерве одна квитанция, оставили для вас...

— Что-о? — говорит Раиса Петровна. — Зачем это?.. Он мне на работе надоел, чтоб я его еще дома держала!..

Полгода проработала она в музее — забрали обратно, в отдел культуры. Без нее, дескать, как без рук. Но и за эти полгода она много чего выяснила для себя. Например, что Пушкин — представьте! — был дворянин! И даже крепостных имел... Это ее поразило:

— А еще говорили: революционер, революционер...

Конечно, в последние годы и для Раисы Петровны, как для всех, началась переоценка ценностей. Прежде, когда ее, случалось, спрашивали: «Раиса Петровна, а Романов, Григорий Васильич, член Политбюро — не ваш родственник?» — она только многозначительно улыбалась и по-малкивала. Дескать, чего хвастаться?.. Но Григория Васильевича отправили на пенсию. Когда ее снова об этом

спросили, она уже только возмущенно фыркнула. Подозреваю, что к тому времени узнала она и о других своих однофамильцах.

Как раз тогда, года три назад, ездила она на Кипр, во главе туристской группы. На кипрской таможне очень она понравилась греку одному, таможеннику — прямо-таки облизывался. Раскрыл ее паспорт, прочел по слогам: «Ра-и-са» — и сказал с улыбкой:

— О-о! Раиса... Горбачева?

— Нет! — гордо ответила Раиса Петровна. — Романова!

## Капуста

Среди многих мастеровых людей, с которыми сталкивала меня жизнь, с особенным, почти родственным чувством вспоминается Андрей Иванович, кряжистый московский украинец лет семидесяти, строивший у нас в квартире книжные стеллажи. Ныне он уже покойник, а видится мне по-прежнему очень живо, со своей степенной неторопливой основательностью и привычными словечками едва ли не на каждый случай. Обосновался он у нас тогда надолго, каждое утро появлялся без четверти девять.

— Здравсьте, Андрей Иванович! Как жизнь?

— Все нормально, — отвечал. — Кроме того, шо ненормально...

Или:

— Да как? Сперва — ничего, потом опять ничего...

Переодевался в рабочее, подходил к верстаку и неизменно спрашивал:

— Ну, шо, так, значит, будем делать?

Спрашивал для проформы: как делать, вчера уж было твердо решено.

— Так, так, Андрей Иванович...

— Ну, раз так, то перетакивать не будем!..

И принимался за работу. Во время работы никогда не раздражался, даже если что-то не получалось; если нужная вещь исчезала из-под рук, он только внимательно оглядывался и приговаривал ласково:

— Чертику, чертику, поиграй та назад отдай!

Скажешь ему, бывало:

— Андрей Иванович, этого материала нам уж точно не хватит!

— Да? — скажет с неколебимым спокойствием. — Ну, если не хватит, то останется...

Так и выходило. Раз убедившись, я больше не спорил: а он, хитровато покосившись, резюмировал:

— Вопросы есть? Нету!..

Работал он размеренно, весь день, но время от времени откладывал рубанок, или пилу, или стамеску, присаживался и затевал беседу минут на десять. Это было вместо перекура: курить он бросил — из-за жены, которая не выносила табачного дыма. Поминал украинских родичей, к которым ездил каждое лето:

— Уж мы там наугощаемся: все ж свое, не магазинное...

Как говорится, яйцо, мясцо, маслице — о це витамин це!..

Рассказывал и о дочери с внуками, которая жила в Ленинграде. И о жене. И о соседях — какая-то была у них в соседстве пожилая пара, которая, видно, здорово ему докучала — особенно соседка:

— Жадна-а!.. Мы еще только переехали, их и не знали, взяли та пригласили по-соседски на Новый год. Галка моя и напекла, и наварила, и холодное сготовила. Являются. В полодиннадцатого. Скажить, на чорта они нам в пол-одиннадцатого!.. И шо, вы думаете, принесли с собою?..

В первый раз же в дом прийшли, та на Новый год! — банку с-под майонезу с повидлой, та два яблока! А?.. Ей теперь уж, почитай, девяносто, ходит растопыркой — держить мене, я надаю!.. А в сундуке все ще добро от мужа прячет. Сама говорит: одних чулок фильдеперсовых семьдесят штук!

— Фильдеперсовых? Их же никто не носит!

— Во-о, а я что говорю? Выйдет, чулки фильдеперсовые, шапка пирожком аж с нэповского времени...

«За политику» Андрей Иванович почти никогда не высказывался. Только однажды, когда я в очередной раз сокрушался, что вот — ничего-то у нас нету, а такую землю имеем — он проворчал:



— Землю! Известно, какая у нас земля: мы посеем, а урожай аж в Америке снимают...

Он уже несколько лет был на пенсии, работал у «людей»: заказчики передавали его один другому. До пенсии же много лет трудился в административно-хозяйственном управлении Совмина, в бригаде, которая обслуживала начальственные дачи. Когда мы познакомились поближе, он и об этом иногда рассказывал. Что ж вы там делали? спрашиваю.

— Ну как шо?.. Всякое. И ремонт, какой требуется, и перестроить шо, или построить, если хозяин схотел. Шкафы сделать, как у тебя. Или еще шо.

— И кто платил — хозяин дачи?

— Ну, скажешь тоже — хозяин! А ХОЗУ на что?..

Я как-то обмолвился, что вот, кончим ремонт, и поеду в дом творчества, в Переделкино. Андрей Иваныч сказал:

— Зна-аю я ваше Переделкино, бывал ... там и наших дач до черта...

— Это чьи же, Андрей Иваныч?

— Да всякие... Мы там все больше у Буденного бывали...

— А где она?

— Да есть... не знаешь, так сроду не найдешь!

— Что, маленькая такая?

— Ма-аленька!.. Поместье. Там одних прудов — три!.. Хоть рыбу разводил!

— Ну — и разводили?

— Не. Рыбой не занимались. Капусту закатывали.

— Что-о?

— Капусту закатывали, шо. Соберут с огорода, нашинкуют пятьдесят бочек, забьют, засмолят — и в пруды. Заместо подвала...

— Сколько вы говорите — пятьдесят бочек?!..

— Ага. Чего удивляешься-то?

— Да нет... но... там, что, семья была большая?

— Не. Какая большая. Сам, да дочка, ну, не знаю, кто еще...

— И куда ж они девали пятьдесят бочек капусты?..

Он посмотрел на меня с некоторым даже сожалением, как на блаженненького:

— Куда?.. Про-да-вали!..

## Хамро Махмудов

В тот раз я прилетел в Бухару по приглашению Союза писателей. Меня встречали на машине два молодых узбекских литератора и в качестве первого угощения предложили съездить в ближайший райцентр, искупаться в старинной бане. Баню, по преданию, строил еще Ибн-Сино, и то ли вода в ней — из соседнего источника, то ли само устройство — считались чудодейственно врачующими. Я про эту баню уже слышал — от приятеля, корреспондента большой московской газеты. Его по приезде в Бухару тоже первым делом туда повезли. Посещение было заранее возвещено, и когда машина подъезжала к бане, он увидел перед входом два огромных белых полотнища, как бы повисших в воздухе. При ближайшем рассмотрении это оказались банные простыни, которые, чтоб завернуть в них гостей, держали наготове первый и второй секретари райкома. Позже выяснилось, что к приезду московского гостя из бани срочно, мокрыми и в мыле, были выгнаны все купающиеся. Само же банное действо, по словам приятеля, оказалось восхитительным, а завершилось роскошной трапезой с дорогим коньяком.

Нас, однако, с распростертыми простынями не встречали, баня была заперта, банщик куда-то уехал, так что никто не мог даже показать сооружение изнутри. Обескураженные мои спутники сунулись, было, в чайхану, но и там не было ничего, кроме пустого чая. Оставалось лишь ехать восвояси, и всю обратную дорогу меня утешали рассказами о Хамро Махмудове.

Этот любимый герой бухарского советского фольклора, кажется, был еще тогда жив, хотя уже не занимал своего провиденциального поста. Вообще же на этом посту — секретаря бухарского сельского райкома партии — он находился с незапамятных времен. То был среднего роста, легендарно толстый человек, неизменно облаченный в защитного цвета «сталинку», с чувсткой тубетейкой на круглой, как шар, голове, украшенной скромными усами.

Сам себя он любил именовать «красным партизаном», хотя когда и против кого он мог партизанить, так навсегда и осталось неясным. Так или иначе, революционное прошлое с успехом заменяло ему все качества, необходимые руководителю, кроме, разве, инстинкта чинопочитания, развитого до степени чрезвычайной. Да еще привычки безоговорочно помыкать подчиненными.

Однажды он созвал актив-судилище над неким прощтрафившимся Кадыровым, или Султановым, из местного среднего руководящего звена. Пришли все, кроме виновника торжества. Хамро Махмудов, взрыкивая: «Гиде эта Кадыров?! Гиде?!», ходил взад-вперед за пустым столом президиума, как лев в клетке. Тут зазвонил телефон. «Кыто?!» — рявкнул в трубку Хамро Махмудов. «Кадыров говорит», — мягким басом сказала трубка.

— А-а, ты телепон звонишь, да-а? Тибе вес актив ждет — ты телепон звонишь?! — и дальше последовала речь, которую, за ее патетической бессвязностью и более чем относительной цензурностью я здесь опускаю. Трубка молча выслушала, потом сказала тем же мягким басом: «Вы что-то путаете, товарищ... Я — Кадыров из ЦК».

С багрового от ярости лица Хамро Махмудова мгновенно сползла краска, щеки задрожали, как жидкий студень, глаза остановились. Он отбросил трубку, как ядовитую змею, мелко попятился назад, пока не уперся в стену, поднял лапки, словно стоящий столбиком суслик, и стал безостановочно повторять: «Кечрасиз, мархамат... кечрасиз, мархамат...» («Извините, пожалуйста...»).

Как-то поехал Хамро Махмудов в Москву, на семинар секретарей сельских райкомов. Событие, в его жизни не частое, к Москве он решительно не был приспособлен. Взял с собой молодого инструктора, что служил в райкоме у него на побегушках, поселился, как положено, в гостинице «Москва». В первый же вечер компания земляков пригласила его в ресторан «Узбекистан». Инструктор остался в номере. Махмудов пошел, пробыл в ресторане до двенадцати, после чего земляки уместили его в такси и отправили в гостиницу. Все бы ничего, но, на беду, о своих апартаментах Махмудов

только и запомнил, что они на седьмом этаже. Ни номера, ни местоположения в коридоре — память его, в подпитии, не сохранила. Поднялся на седьмой этаж. Что делать дальше — неизвестно. Постучал в ближайшую дверь. Кто-то проснулся, пробурчал недовольно: «Кто там?»

— Хамро Махмудов здес живот? — спросил Хамро Махмудов.

— Да нет здесь никаких хамло! — рявкнули из-за двери.

Тем же манером постучал он в следующую дверь, и выслушал примерно тот же ответ. Так, понемногу, он обстучал почти весь этаж, пока, наконец, на очередной вопрос не откликнулся радостный голос инструктора:

— Здес, здес! — дверь распахнулась, и сияющий инструктор с подобострастной укоризной в голосе сказал по-русски: — За что спрашиваете, Хамро-ака, не знаете — вас здес жду?..

Хамро Махмудов насупился:

— Хотел проверить, помнишь моё фамилие, нет?

— Вах! — только и сказал инструктор, не в силах другими словами выразить горестную и почтительную оскорбленность столь неоправданным неверием в его величайшую преданность, и от чрезмерной полноты чувств широко развел руками.

Но самая памятная история произошла с Граховским. Граховский лет двадцать пять проработал помощником первого секретаря райкома, готовил все доклады, выступления, отчеты, резолюции, письма и телеграммы, подписанные Хамро Махмудовым. Это был шустрый, небольшого росточка еврей в сильных, как бинокль, очках.

Однажды, наутро после обильного тоя с соответствующими возлияниями, Хамро Махмудов пришел в райком с тяжелой головой и в крайнем раздражении. Он открыл сейф и стал что-то искать, одну за другой вынимая папки и складывая на столе, кресле, подоконнике. И вдруг спохватился: главной папки — с секретными документами — не было! Он еще раз перебрал папки, всовывая обратно в сейф — нету! Накаляясь, как перегретый котел, Махмудов позвонил секретарше:

— Эта... Граховски суда!

Пришел Граховский, скромно блестя очками:  
 — Звали, Хамро Махмудович?  
 — Граховски! — рокочущим басом сказал Хамро Махмудов, нависая над столом, как гора, которая пришла, но не застала Магомета. — Граховски! Ты кто?!..  
 — То есть как? — пролепетал Граховский.  
 — Ты кто, Граховски? — ревел Хамро Махмудов, наставив на него палец. — Ты — шпион! Я тебе на турма пасажу!..  
 — Да что случилось, Хамро Махмудович?..  
 — Гиде мой красный попка? Я тебе спрашиваю — гиде мой красный попка?  
 Бедный маленький Граховский все понял, собрал в кулак свою слабую волю и сказал, сколько мог, решительно:  
 — Она же у вас была. В сейфе...  
 — Гиде? — орал Хамро Махмудов, красный от натуги. — Нету... Нету-у!  
 — У вас была... — слабея, повторил Граховский.  
 — Ухади! Пазави Апанасов!  
 Пришел Афанасьев — второй секретарь райкома.  
 — Апанасов! — закричал Хамро Махмудов. — Ты эта Граховски знаиш?  
 — Знаю, конечно, — сказал Афанасьев.  
 — Он — шпион! Жид он! Групп-ровщик!..  
 — Ну, какой он шпион, Хамро-ака, — примирительно сказал Афанасьев. — Мы ж его двадцать лет знаем. А в чем дело-то?  
 — Гиде мой красный попка? — снова заревел Хамро Махмудов. — Скажи — гиде мой красный попка?!..  
 Афанасьев тоже сразу понял все. Он оглядел стол, подоконник, наконец, наклонив голову набок, посмотрел на кресло шефа.  
 — Да вы ж на ней сидите! — сказал он.  
 — Гиде?..  
 Хамро Махмудов встал, папка лежала под ним на кресле. Он взял ее в руки, раскрыл.  
 — Йе! — сказал он. — Двиствительно...

## Перспектива

Мать перед работой ведет пятилетнего мальчугана в детский сад. Вышли рано, идут не торопясь.  
 — Ну вот, — ласково говорит мать, — через два годика ты уже и в школу пойдешь...  
 — А что потом будет?  
 — Будешь учиться...  
 — А потом?..  
 — Потом — кончишь школу!  
 — А еще потом?  
 — Поступишь в институт.  
 — А потом?  
 — Кончишь институт, работать пойдешь!  
 — Работать?.. А потом?  
 — И потом будешь работать!  
 — Долго, мама?  
 — Долго, сыночек, много лет!  
 — А потом?  
 — Ну — что потом?.. Потом — на пенсию выйдешь. Будешь жить — поживать...  
 — А потом? — в голосе малыша слышна настойчивость, он явно дожидается какого-то важного ответа. — А потом, мам?!..  
 — Ну, сынуля... потом... потом, как все... умрешь...  
 Мальчик обгоняет мать на шаг, останавливается, повернувшись, и смотрит на нее с тайным ужасом и укоризной:  
 — Мам, ты шутишь?..

## Встреча

Двое бывших «серапионовых братьев», кажется, Всеволод Иванов и Михаил Слонимский, где-то в начале тридцатых приехали в очередной раз из Ленинграда в Москву и через посредство Маршака договорились с Горьким о встрече. Без

предварительной договоренности по телефону придти к Буревестнику революции было уже не просто невежливо — попросту невозможно.

В назначенный час, в шесть вечера, они стояли у калитки, что в кованой оgrade бывшего особняка Рябушинского, и нажимали на звонок. Недолгое время спустя наверху, на площадке наружной каменной лесенки, открылась дверь, и на площадку, один за другим, вышли двое в серых костюмах, с серыми плоскими лицами.

— В чем дело? — угрюмо спросил один, постарше.

— Мы к Алексею Максимовичу!..

— Алексея Максимовича нет дома! — каменно сказал старший.

— Но нам назначено... по телефону... Именно на сейчас назначено!

— Я же сказал: Алексея Максимыча нет дома!

И тут за спинами двоих, в проеме полуоткрытой двери, показался сам Алексей Максимович.

— Это ко мне... ко мне! — сказал он.

Двое серых даже не обернулись — просто старший за спиной у себя прикрыл дверь.

— Алексея Максимыча нет дома, — так же каменно повторил он. И пока «серапионовы братья» растерянно на него глядели, протиснулся обратно в оставленную щель, за ним протолкнулся второй, и дверь захлопнулась.

## Панихида

На гражданскую панихиду по Эренбургу очередь в ЦДЛ выстроилась огромной подковой: от главного входа с улицы Герцена до входа с улицы Воровского. Мы пришли поздно, с полчаса ползли с очередью и даже до площади не добрались. Дальше стоять было бесполезно. Но у главного входа выяснилось: с писательскими билетами впускают без очереди! Сообрази мы это раньше — были бы уже в зале. Теперь же, зажатые толпой, мы поднялись только в верхнее фойе, где голоса милицейских мегафонов с улицы перекрещивались с



трансляцией уже начавшегося в зале траурного митинга. «Прекратите напирать! Впуск закончен! Немедленно прекратите напирать!» — орала мегафоны, а бабий голос Юрия Жукова из зала торжественно вещал: «Я говорю от имени обществ дружбы...»

Митинг, наконец, завершился. Открылись двери зала, и люди потекли внутрь — прощаться. Гроб стоял на сцене, призрачный профиль покойного был чуть виден. Люди продвигались

в молчании, вытягивая шеи. Покойный не составил эпохи в литературе, но частью эпохи он, конечно, был, и теперь казалось, что именно с ним эта наша эпоха уходит навсегда. Было грустно, почти безутешно. Толпа утекала в правый угол сцены, в маленькую дверь, ведущую из дымной полутьмы в белый полдень внутреннего дворика. А снаружи, по обеим сторонам двери, стояли цепочками сравнительно молодые люди, одинаковые костюмами и лицами. Они энергично подталкивали, торопили выходящих — и приговаривали скоренько:

— Веселей, товарищи! Веселей...

## Солоухин

Приехали в Москву к Солоухину гости из деревни — земляки, родичи. Сидят.

Хорошо сидят. Выпивают, закусывают.

— Чтой-то ты, Володь, смурной какой! — говорит один. — Аль чаво нехватат? Дак ты скажи, мы поможем, исделаем!

— Д, не, робят, всёго хватат.

— Може, квартера у тебя не така?..

— Д, не, квартера ничаво, нормальна квартера. Вот она, квартера. Пять комнат...

— Може, дачи нету?.. Скажи — построим!

— Не, робят, и дача есь. Под Москвой. И в Крыму одна...

— Ну, дк, може, мошины нету?

— Есь мошина, робят... «Волга» есь... И ета, как ее... «мерседес»...

— Ну, дк, с чего смурной-то такой?

— Д, народ больно плохо живет...



## Галкин

Известный еврейский поэт Самуил Галкин много лет провел в сталинских лагерях, вернулся в пятидесятых, тяжело больной. Летом в доме творчества «Переделкино» по совету врачей регулярно «выгуливал» свое сердце по аллеям и зеленым «лесным» улицам; сердцу, однако, это помогало мало. Как-то днем, уходящийся и тяжело дыша, он присел в парке на скамейку. Кто-то, шедший мимо, поравнялся, остановился, спросил сочувственно:

— Что... переходили?

— Нет, — сказал Галкин, — пересидел.

## Светлов

Мне не везло — ни разу в жизни не встречался я всерьез со знаменитостями. Жил долгое время в провинции, существовал как бы на обочине литературной жизни, да еще и лень, и скованность, мне изначально свойственные... Даже доступнейшего для всех, отчасти по причине печальной своей застойной склонности, Михаил Аркадьевича Светлова — видел я и слышал лишь однажды. Это было, когда он приехал в Ташкент в составе российской писательской бригады — едва ли не единственная в ней знаменитость, личность, по тем временам легендарная — и в Союзе писателей устроили его встречу с местными литераторами и журналистами. Он легко узнавался — уж больно похож был на все рисованные на него шаржи — но выглядел вялым, может, болен был, и, беседуя с нами, отвечая на традиционные вопросы — как писалось то или это и как вообще надо писать (словно можно на это ответить!) — оживился только к концу. Я ожидал большего и даже расстроился. Пытался себя взбодрить, вспоминая множество историй, что рассказывали про него, его знаменитые словечки или изречения...

Все ли они известны теперь? Ох, думаю, не все! Много, что было на слуху, улетучивается, уходит в глубинные пласты памяти. Помните ли вы, например, его объяснение, почему не стоит брать в долг? «Потому что берешь — на время, а отдаешь — навсегда!» «Берешь — чужие, отдаешь — свои...» Или — как строятся на Руси заборы: «пишется слово из трех букв, а к нему прибаваются доски!» А чего стоит история о том, как получил Светлов свою первую и единственную в жизни государственную награду?

Это было году в сорок втором. Светлов служил во фронтовой газете. Командующий фронтом решил, что для поднятия боевого духа армий им требуется собственная песня, как бы гимн фронта. Приказал подыскать подходящего автора. Где ж искать? В газете!.. И оттуда прислали капитана Светлова. Впустили его к командующему; Светлов кое-как отрапортовал. Вид у него, с военной точки зрения, был отнюдь не вдохновляющий; впрочем, и гражданской вдохновенностью он с виду тоже не отличался.

Командующий поморщился.

— Кого прислали!.. Ты песни-то писал когда-нибудь?

— Так точно, писал, товарищ командующий!

— Ну, и какие?.. Назови хоть одну!

— Ну... «Каховку»...

— Что-о?.. Ты написал «Каховку»?

— Я...

— Н-да... Подполковник, быстро выясни, кто написал «Каховку»!

После короткой заминки, во время которой оба главных персонажа переминались на своих местах, доложили: «Каховку» написал Михаил Светлов.

Командующий сделал удивленную мину и посмотрел на Светлова внимательней:

— Смотри-ка... и впрямь — ты написал!.. А что ты за это получил?

— Как — что? — сказал Светлов. — Гонорар!

— Да я не о том... Награду какую?

— Никакой награды...

— Что-о? За «Каховку» — никакой награды?

— Так точно — никакой.

— Н-ну... подполковник, срочно выясни, что дали за «Каховку»!

— Есть!.. Но, товарищ командующий...

— Выяснить!

На этот раз заминка оказалась продолжительнее. Наконец, доложили: никакого ордена Светлов за «Каховку» не получил...

— Ах, ты, черт!.. Подполковник, пиши представление: капитана Светлова... как тебя? Ага... Светлова Михаила Аркадьевича... представить к ордену Красной звезды за написание песни «Каховка»!..

Так он и получил свой единственный в жизни орден.

После войны, в пятидесятых, выбрали как-то Светлова в народные заседатели. На одном из заседаний суда разбирались при нем дело об изнасиловании. Громадного роста и атлетического сложения бабища обвиняла маленького шуплого мужичонку.

— Гражданка! — сказал председательствующий. — Объясните все же... как это произошло? Взгляните на него, взгляните на себя...

— Я была под наркозом! — с вызовом сказала истица.

Светлов приподнялся:

— Разрешите вопрос... Под общим — или под местным?

Где-то уже в поздние его, в шестидесятые годы, собралась компания друзей; были это всё литераторы, но не из преуспевающих — безденежный народ. Надо бы выпить, но — ни бутылки, ни денег... Стали собирать по рублю.

— У меня, — сказал Светлов, — рубль только один... Я, конечно, отдам, но сначала я должен снять с него нотариальную копию!

Денег у него всегда не было. Однажды он перевел стихи с молдавского — для кишиневского издательства. Перевел, отправил — а денег все не шлют. Раз напомнил — ничего. Второй раз — то же. Тогда он отправил телеграмму: «Срочно высылайте гонорар, а то переведу обратно на молдавский!»

Когда дни его уже вовсе шли к концу, во время смертельной болезни, лежал он в больнице. Окно палаты выходило на обширный двор, в центре которого стояло мрачное приземистое здание морга. Просыпаясь утром, он первым делом взглядывал в окно и говорил, кланяясь:

— Гутен морген!

С того давнего дня, когда мне довелось его слушать, до этой поры оставались еще годы. Он сказал тогда, под конец:

— У меня вот две строчки есть. Хорошие строчки. Но бесхозные. Никуда не могу пристроить. Не получается стихотворение. Как ни пробую продолжить, все выходит плохо. Ничего с теми строчками рядом не поставишь... — и он продекламировал:

Пятница, суббота, воскресенье...

Нету мне от старости спасенья!

Господи боже мой! Как же он, с его острой мыслью, не понял, что ничего к этим строчкам добавлять уже не надо было? — они уже и были готовым, законченным, пронзительным стихотвореньем...

## Рассказ старого человека

— У нас патнасасть лет назад один человек партархив спортил. Пожилой человек, Махкамов Ташпулат. Он арабски шрифт знает, а там же много арабским шрифте, вот его и назначил, а он все партийный документ свой фамилия вписал — где комиссия был, где съезд, где что... Как его разоблачил?.. Э, там архив татарин один тоже работал, старый, инвалид, без ноги, арабским шрифте тоже понимает, а Ташпулат думал — не знает ничего, не таился, ну тот татарин смотрит — видит, совершенно другой почерк вписано. Докладной написал цека, разобрались, погнали Ташпулат, тепер так ходит, без работа... Книжка написал про свой заслуги! Ну, пока ни напечатали... Вабще он такой был. Мне падисят третий год документы враг народа дали — посмотри, говорит, если кто живой еще — освободим. Смотрю один дело — Мажитов, наш классик считался, потом его враг народ обвинили. Интересный история... Он один молодой друг стихах совет написал, как работать. Опытный же был человек, ну вот... А тот Ташпулат донос писал, стихи перевел — «большевик, как овод, кровь выпьют». А я стих посмотрел. Про овод есть, про большевик — нет, вабще слово большевик нету!.. Я Ташпулат встретил, зачем, говорю, врал? И опять врешь, пишешь — гражданский война участвовал, тебе же десить лет был, винтовка держать не мог! Нет, говорит, мог, мог! Я говорит, комсомол организовал. Э, говорю, мы помним, кто организовал, тебе близко не был!.. Вот такой человек. Ну, он страшный время молодой был, поэтому...

У нас тогда столица Турткуль был, пять-шесть улис длинный, один — Ленин, другой — Сталин, третий — Маркс-Энгельс... На улиса Ленин турма был, прямо главный улиса. Трисать седьмой год турма тесно стал, пединститут Чимбай перевел, инситутски дом турма отдал. У-у! Баня их ведет, сорок-пядисят собак, город маленьки, все видит, плачет... Самый наш извесный люди, писатель, партийны работник, все взял... Человек четыре-пять остался... Смотрим щелка, боимся, плачим...

Тогда преседатель колхоз возьмут, спрашивает: «Ты туроцкис?» А он же неграмотный, никакой Туроцкий ни знает, какой туроцкис? Нет, говорит, я Турсия не был... Тот Мажитов, когда его судил, шидисят два год был, ему двасать лет дал. Последни слово спрашивает, он говорит — спасибо вам, товариш-гражданин, двасать лет дал, мне тепер, дети мои, шидисят два, восимисят два год выйду, хорошо! Потом пошел камера — какой камера, комната там был камера, галанский печка такой высокий был — помогите, говорит, детки, меня наверх лезть, хочу окно последний раз родной земля посмотреть... Подсадил его, он сверху кричит: «Не враг я! Не враг!» И вниз головой бросился, разбился... Я документ смотрел, там под протокол он себя враг ни признал, арабски шрифте написал «не враг», потом латински шрифте, потом палец чернило прижал...

Да, много страшный был. Москва, конечно, тоже, Ташкент тоже, ну там народ много, ни так заметно. А у нас город маленьки, страна маленьки... У нас, вот интересно, один поет двадсать лет посадил, жена десить лет ждал, один сын остался. Потом вышел замуж другой человек, четыре дети родил. И второй муж посадил! А тот поет двасать лет сидел, вернулся. Турткуль вернулся! Его сын уже большой, Нукус живет, а с ней четыре дети второй муж... Сидят, он входит. Ей неудобно, конечно, это, говорит соседи дети, не мой... Соседи тоже предупредил. День прошел — второй муж вернулся! Вот, а?.. Как ей, конечно, быть? Этот поет всё понял, я, говорит, не обижаюсь, никто не виноват, ты, я, он — никто не виноват. Вот я получил деньга, возьми половина, купи детям, а я поеду. У него четыре дети, у меня один, так правильно будет... И Нукус уехал. Два дня пожил — опять посадил его! Однако, шесь месяц посидел, ничего, Сталин умер, он вернулся... Мы его парторганизаций секретарь назначим, книжку выпустим, а он август месяц воспаление легкий получил — умер, один книжка остался! Вот интересно, двадсать лет север сидел, как это место, Абакан, что ли, там же холод, ничего, не простудился! Дома жара стоит. Август месяц — простудился, помер... Жена до сих пор живой, Турткуль живет, ага, ну — немножко уме, немножко нет...

## Дерево

— Начали у нас котлован под стройку рыть, на краю степи, а там дерево стояло, здоровое такое, красивое. Так шоферага один, что с водой цистерну возит, пожалел его, понимаешь, выкопал с корнями, увез с собой, да по дороге, возле дома казаха одного, посадил. Вырыл яму, как полагается, да и посадил. И каждый день, бывало, как проезжает мимо с водой, так и полет. Что ты думаешь — принялось дерево, шоферага тот аж не нарадуется!.. И тут ему отпуск подошел. Возвратился из отпуска, едет, значит, со своей цистерной, ждет — счас его дерево покажется. Глядь, а дерева-то нету! Спилено! Один пенек торчит... Он аж зашелся! И — к тому казаху: «Кто спилил?!..» Да я, говорит казах. Шелестит, понимаешь, спать мешает...

## Дверь в Праге

Вниз от Градчан, круто спускаясь вниз, ведет улица, с одной стороны ограниченная обрывом к садам Петржина, с другой — высокими, почти глухими стенами, лишь наверху прорезанными рядом окон. Народу на ней чаще немного, дверей — того меньше, и поэтому полуоткрытая дверь за выступом стены кажется очень одинокой. Мы уже миновали выступ и спустились ниже, когда, обернувшись, ее увидели; но она так пестро и затейливо была расписана, что мы вернулись назад — посмотреть поближе.

То был вход в мастерскую скульптора — скульптуры проглядывались и снаружи; дверь оказалась расписанной многоцветными надписями. Написано — языках на двадцати — было одно и то же: “Come in”, “Kommen Sie Herein”, «Antre», и еще по-испански, итальянски, гречески, португальски, голландски, шведски, арабски... Одно и то же: «Входите».

А внизу написано русскими буквами:  
«Влезане то е бесплатно».

## На шоссе

— Были мы в Баку, в нашем филиале. Повез нас главный инженер за город, на объект. Едем по шоссе, на одной развилке милиционер останавливает. Маленький такой милиционерчик, метр с кепкой:

— Нарушаити...

Главный инженер — он, конечно, за рулем, хмурый такой мужик, длинный, кадыкастый — говорит:

— Ни нарушаем...

— Нарушаити! — говорит милиционерчик строже.

— Ни нарушаем!

Милиционерчик уже орет:

— Говорю — нарушаити!

— Что нарушаем? Скажи? Что?. — кричит инженер. — Ничего не нарушаем!

— Милиционерчик поджимает губу:

— Сичас номер сниму...

И идет, значит, назад, к багажнику. Инженер высунулся из окошка и говорит ему вслед:

— Снимай, снимай, завтра тебя самого снимут!

Милиционерчик разом поворачивается:

— Кого знаишь?..

— Не скажу! — говорит инженер.

— Ну, так бы и сказал! — говорит милиционерчик, машет рукой, и мы едем дальше.

## Закон опечатки

— Было же время: даже районные или там городские газетки публиковали тассовскую информацию! Весь-то номер — две полоски с фиговой листок, а первую изволь занять мировыми событиями. С одной стороны, оно и хорошо — работы меньше, и ответственности: местные материалы все ж иной раз чреватые... Но зато закавыка — опечатки. В своем материале — пойдешь, извинишься, и то —



## Дерево

— Начали у нас котлован под стройку рыть, на краю степи, а там дерево стояло, здоровое такое, красивое. Так шоферяга один, что с водой цистерну возит, пожалел его, понимаешь, выкопал с корнями, увез с собой, да по дороге, возле дома казаха одного, посадил. Вырыл яму, как полагается, да и посадил. И каждый день, бывало, как проезжает мимо с водой, так и польет. Что ты думаешь — принялось дерево, шоферяга тот аж не нарадуется!.. И тут ему отпуск подошел. Возвратился из отпуска, едет, значит, со своей цистерной, ждет — счас его дерево покажется. Глядь, а дерева-то нету! Спилено! Один пенек торчит... Он аж зашелся! И — к тому казаху: «Кто спилил?!...» Да я, говорит казах. Шелестит, понимаешь, спать мешает...

## Дверь в Праге

Вниз от Градчан, круто спускаясь вниз, ведет улица, с одной стороны ограниченная обрывом к садам Петржина, с другой — высокими, почти глухими стенами, лишь наверху прорезанными рядом окон. Народу на ней чаще немного, дверей — того меньше, и поэтому полуоткрытая дверь за выступом стены кажется очень одинокой. Мы уже миновали выступ и спустились ниже, когда, обернувшись, ее увидели; но она так пестро и затейливо была расписана, что мы вернулись назад — посмотреть поближе.

То был вход в мастерскую скульптора — скульптуры проглядывались и снаружи; дверь оказалась расписанной многоцветными надписями. Написано — языках на двадцати — было одно и то же: "Come in", "Kommen Sie Herein", «Antre», и еще по-испански, итальянски, гречески, португальски, голландски, шведски, арабски... Одно и то же: «Входите».

А внизу написано русскими буквами:

«Влезане то е бесплатно».

## На шоссе

— Были мы в Баку, в нашем филиале. Повез нас главный инженер за город, на объект. Едем по шоссе, на одной развилке милиционер останавливает. Маленький такой милиционерчик, мстр с кепкой:

— Нарушаити...

Главный инженер — он, конечно, за рулем, хмурый такой мужик, длинный, кадыкастый — говорит:

— Ни нарушасм...

— Нарушаити! — говорит милиционерчик строже.

— Ни нарушаим!

Милиционерчик уже орет:

— Говорю — нарушаити!

— Что нарушаим? Скажи? Что?. — кричит инженер. — Ничего не нарушаем!

— Милиционерчик поджимает губу:

— Сичас номер сниму...

И идет, значит, назад, к багажнику. Инженер высунулся из окошка и говорит ему вслед:

— Снимай, снимай, завтра тебя самого снимут!

Милиционерчик разом поворачивается:

— Кого знаишь?..

— Не скажу! — говорит инженер.

— Ну, так бы и сказал! — говорит милиционерчик, машет рукой, и мы едем дальше.

## Закон опечатки

— Было же время: даже районные или там городские газетки публиковали тассовскую информацию! Весь-то номер — две полоски с фиговой листок, а первую изволь занять мировыми событиями. С одной стороны, оно и хорошо — работы меньше, и ответственности: местные материалы все ж иной раз чреватые... Но зато закавыка — опечатки. В своем материале — пойдешь, извинишься, и то —

если начальства касается; ежели прочих — и так сойдет. Фамилию одного поммастера многотиражка напечатала в женском роде, так он пять лет ходил: придет в редакцию, станет в позу:

— Это что ж такое?! — кричит. — Годы идут, а опровержения нет и нет!

Но в тассовском материале опечатка — у-у, скандал!.. У нас в газете старый корректор работал — замечательный вычитчик! Он в войну два года отсидел за опечатку. Правда, и опечатка ж была! В шапке «ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО» буква «Л» выпала. И ведь действительно выпала, уже в печатной машине, когда полтиража оттиснули, редакция ни сном ни духом не была виновата...

Вообще у опечатки свой закон. Проскакивает в шапках, в аршинных заголовках: их ведь часто и не читаешь — понадеешься, глазами проскочишь.

Или наоборот: сидишь, читаешь, читаешь, чуть не с лупой, ну думаешь, все, чистая полоса... И тут подойдет кто-нибудь, глянет — с ходу упрется! У меня, у приятеля, было, в пропагандистской полосе: «И. В. Сталин развивает учение В. И. Ленина». Вычитал полосу, подписал, и тут как раз кто-то подходит. Глянул — и охнул:

— Ты что, братец!

В полосе-то набрано: «И. В. Сталин разбивает учение В. И. Ленина»... Так бы и прошло! Страшно подумать!

Еще, знаете, любит опечатка повторяться. В одном горняцком городе, в городской газете, отличный редактор работал. И с фамилией почти как у генерала двенадцатого года. И вот, как-то в середине пятидесятых, открылась очередная Генеральная Ассамблея ООН. Ну, они и дали, как положено, информацию на первой полосе, а сверху шапку такую здоровую:

#### «ОТ РЫТИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ»

Ба-альшой был шухер! Редактора с генеральской фамилией в горкоме аж до крови песочили, приехал в редакцию злой,

собрал свой могучий коллектив — три человека, включая корректора и уборщицу — прочел грозную нотацию, все, не исключая уборщицы, покаяться, осознали. Недели через три Ассамблея закрылась, и дали они шапку:

#### «ЗА РЫТИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ»

Тут его уж, кажется, и не ругали... весь город животики надрывал.

С чего б такое? Да на штампах это проскакивает, уж на таких стертых, что нет сил их в стотысячный раз по буквам перечитывать. Вот и в самой «Правде», в речи Брежнева, прошло многомиллионным тиражом: «Вперед, до полной победы капитализма!»

И ничего тут не поделаешь.

Закон опечатки.

### *В эпоху ускорения*

Трое рабочих сидят на ступеньках лестницы, в углу громадного заводского цеха. Лениво перебрасываются словами — и вдруг настороженно смолкают: наверху лестницы показывается торопливо спускающийся мастер. Видно, впрочем, что сидящие рабочие его ничуть не интересуют. Поравнявшись с ними, он, однако, вспоминает о своем долге администратора и на ходу спрашивает:

— Что делаете?..

— Ничего.

— Ну, давайте, быстрей!..

И торопливо проходит дальше.

### *Ашрафи*

Известный узбекский композитор Ашрафи в молодости учился у русских музыкантов, даже с ними сотрудничал. Кое-что у них, между делом, и позаимствовал... И пытался сочетать народные лады с канонами музыки европейской. Некоторые специалисты советской эпохи утверждали, что он

достиг в этом немалых успехов. Но большинство слушателей, и русских и узбекских, воспринимало его музыку иначе. В годы войны, в пору массовой эвакуации из России, в Ташкенте было в ходу слово «баранчук», якобы обозначавшее «мальчик». Откуда оно взялось — неизвестно: русские считали, что слово — узбекское, узбеки — что русское. Вот таким «баранчуком» была и музыка Ашрафи.

Однажды журналист из ташкентской русской газеты приехал в большой узбекский колхоз, председатель колхоза принимал его у себя за обильным столом. Звучал приемник: передавали узбекскую народную музыку, и хозяин, в перерывах между тостами, жеваньем и разговором, блаженно подпевал. Концерт кончился. Радио помолчало, потом дикторы пробормотали что-то неразборчивое — и зазвучал Бетховен. Председатель, увлеченный очередным тостом и едой, врубился не сразу, но, прислушавшись, сморщился, как от кислого, привстал, потянулся, сказал:

— Э-э, Ашрафи! — и выключил приемник.

## *Такие русские интеллигенты*

В начале шестидесятых всесоюзная газета созвала совещание собственных корреспондентов. Они съехались в столицу, разместились в гостинице «Москва». На пятом этаже в соседних номерах оказались трое, давние приятели: из Армении, с Северного Кавказа, из Свердловска. Один — известный был «ходок», и тут себе не изменил («жене — да», шутили приятели). В первый же вечер закадрил он дежурную по этажу: красавица, фигура манекенщицы, лет двадцать восемь, язык подвешен, что надо; между прочим, иняз кончила, муж — инженер-электронщик — что ей в той гостинице? .. Значит, был резон. Провела в номере собкора одну ночь, вторую... На исходе второй кто-то из товаров звякнул мужу: так и так, приезжай, в таком-то номере найдешь свою жену. Известно: женская солидарность.

Муж сорвался, поймал такси и вместо работы помчался в гостиницу. Но — опоздал: трое приятелей с красавицей уже

отправились завтракать. Сидят в кафе гостиницы, и вдруг женщина говорит шепотом:

— Муж мой... вон, в дверях стоит!

Муж, действительно, стоит в дверях зала, ищет ее глазами: кто-то ему и о кафе доложил.

— Вставай, — говорят собкоры, — зови его к нам!

Поднялась она, машет, он увидел, подходит мрачнее тучи. Она всех представляет друг другу, а те трое — ну, просто сияние излучают:

— Старик, садись к нам! Мы о тебе столько слышали!

— Нет, — говорит, — не могу... — И — жене: — Домой пошли!

— Стари-ик! Обижает! Хотя на пять минут! Мы ж люди простые, не церемонься...

Стало ему как-то неловко. В конце концов, никого он ни на чем не поймал... Присел на минуту. А те — хохмят, сыплют анекдотами, рассказывают байки, прекрасные веселые люди. И выпить пришлось, как ни отнекивался. Сперва рюмочку, потом другую... Словом, полчаса спустя инженер-электронщик привык к ним, как к родным. Они, наконец, расплачиваются, встают, а ему уже и расставаться неохота:

— Ребята, — говорит, — поехали к нам на часок: у меня такие записи! Поехали, послушаем...

Пришлось ехать — чтобы окончательно замять историю.

Посидели часа полтора, послушали музыку. Извинились: в редакцию давно пора. Вышли втроем, идут к остановке, хмуро помалкивают, и вдруг один, тот, что из Армении, останавливается и говорит со своим подчеркнуто ударным акцентом:

— Вот такие русские интеллигенты... и проиграли Февральскую революцию!

## *Семья Ульяновых*

Время было напряженное: отец перешел на работу с меньшей зарплатой, залезли в долги, и он от этого постоянно нервничал; за обеденным столом у них с матерью то и дело возникали перепалки. Дочка, пятиклассница, зако-

ренелая отличница и чистюля, наблюдала за этим с явным, до поры молчаливым осуждением. Однажды, в воскресенье, такая перепалка зашла дальше обычного. Отец бросил на стол ложку, с грохотом отодвинул стул и выскочил в другую комнату. Мать, подавленная, молчала, глядя в тарелку. И вдруг девочка сказала осуждающе-наставительным тоном:

— Вот вы все ругаетесь, ссоритесь, а знаешь, как жила семья Ульяновых?.. Ни-когда не ссорились! Понимали друг друга, были очень вежливы и внимательны. Вот... Не то, что вы!

Мать, чувствуя себя виноватой перед дочкой за сцену, что разыгралась на ее глазах, стала не очень вразумительно объяснять, что конечно... Ульяновы... но у них, доченька, время было другое... и положение... ну, как тебе сказать... у нас...

— Все равно! — непреклонно сказала пятиклассница, и мать смолкла.

Неизвестно, слышал ли это из другой комнаты отец: мать собиралась рассказать ему — в назидание: вот, дескать, до чего ты дошел со своими скандалами, и притом при ребенке... Но минуты подходящей не нашлось. В следующее воскресенье перепалка повторилась, и дочка, чувствуя свою уже подтвержденную опытом правоту, сказала при отце:

— В семье Ульяновых так себя не вели!..

Отец побелел, вскочил, схватил дочь за плечи и стал трясти, яростно приговаривая:

— Я т-тебе покажу семью Ульяновых! Я т-тебе покажу семью Ульяновых!..

## *Формула счастья*

Пржевальск. Середина лета. Часа три пополудни. Город, и без того не слишком людный, замер. Редкие прохожие скользят в тень еще более редких деревьев. Как унылые памятники счастливого прошлого, стоят кое-где на углах заколоченные будки с надписями «Пиво» или «Газвода», брошенная железная бочка из-под кваса, с навешенным

замком и давно иссохшей лужей около, или невесть как выползший из двора бездействующий, смертельно сухой водопроводный кран. Напиться негде. Решительно негде.

Жара. Жара. Жарища.

И вдруг, уже на выезде из города, рядом с желто-зеленым пустырем — работающий пивной ларек! Райское виденье!.. Конечно, рядом — толпа, гам, ругань, но все-таки — пиво!..

И в полусотне метров от ларька, на посохшей колкой траве, одиноко сидит киргиз лет тридцати, в однобортном пыльном пиджаке и брюках в клеточку. Перед ним — две пустых и с десятков полных кружек с угасающей пеной. Блаженно, разнеженно простирает он вперед обе руки, как бы разом обнимая все свое пивное войско, и говорит с болезненно-счастливой гримасой:

— Ниг-дэ нет!..

## *Телефончик*

Митя гнал по Волоколамскому шоссе на машине, на весь нынешний вечер данной ему отцом. Вечер, впрочем, уже прошел, до обидного бестолково; был двенадцатый час ночи, шоссе просыхало после легкого апрельского дождя, встречный ветер пах весной. После остановки у очередного светофора Митя лениво подумал, что не худо бы левака подсадить, заработать копейку: и почти тотчас к свету его фар метнулась с обочины девичья фигурка с поднятой рукой.

Митя остановился, приоткрыл дверцу. В салон всунулось хорошенькое личико:

— Подвезешь?

— Куда?

— Да прямо... километра три. Прямо едешь?

— Н-ну... — неопределенно протянул Митя, но она уже ловко усаживалась на соседнее сиденье.

А что, может оказаться очень кстати, думал Митя, фигурка — класс, мордашка тоже вполне ничего... Она шевельнулась рядом и посмотрела на него, словно прочла мысли:

— Ты сам-то куда едешь?

— В Щегловку.

— Эт чего так поздно?

— У меня там дом.

— Ну да-а!.. Собственный?

— А то какой же! — буркнул Митя, хотя дом был бабушкин, а ему отводилась на случаи приездов всего-навсего малюсенькая угловая каморка, правда, с отдельным входом.

— Н-ну, — сказала она, — ты и даешь! И дом собственный, и машина... — насчет машины Митя промолчал, а она уселась поудобней. — Всю жизнь мечтала в каком-нибудь собственном доме побывать.

— Ну и что? — спросил Митя.

— Не пришлось... Слу-шай, а в доме у тебя чашка кофе найдется?

— Кофе — не знаю, — нахально сказал Митя, — а станок найдется!

Она хохотнула.

Через десять минут они уже скрипели ступеньками его крыльца, а еще через три — лежали в постели. Когда Митя проснулся, за окном рассвело, девушки не было, на стуле, поверх его трусов и майки, лежала записка: «Спасибо за почевку. На всякий случай оставляю телефончик». Без подписи. Черт, подумал Митя, даже не знаю, как ее зовут! Он оделся, записку сунул в карман пиджака и поехал домой.

Несколько дней спустя Митя обнаружил у себя в организме некоторый явный беспорядок. Крайне перепуганный, он кинулся к приятелю, студенту-медику, который недавно проходил практику в вендиспансере. Тот посмотрел — и крикнул:

— Ну, ты и вяпался! — Митя вздрогнул, и приятель поправился: — Ничего, ничего, не бойсь, вылечим... Ты хоть знаешь, где подцепил?

— Знаю, — буркнул Митя.

Приятель назначил, когда и куда придти, и Митя вышел. Ну, стерва, думал он с яростью, и тут вспомнил про «телефончик». Счас я тебе позвоню, счас... Он судорожно

полез в карман, бумажка была на месте. «Телефончик» — у-у, стерва! Он представил себе, как она поднимает трубку, и он ее обкладывает. Автомат оказался рядом. Митя набрал номер. Потянулись длинные гудки, наконец, трубку сняли, и пока Митя вбирал воздух в легкие, грубый мужской голос рывкнул ему прямо в ухо:

— Алё! Вендиспансер слушает!

## Отец и сын

Фамилия его была не то Замешкин, не то Замескин, точно не помню. Да и неважно, не в фамилии суть. Работал бухгалтером в областном городе, занимал комнату в коммунальной квартире, вместе с женой и сыном. Это удивительно, как супружеские пары, сами не замечая, подбираются по внешнему сходству. Замескин и его жена похожи были на редкость — оба маленькие, серенькие, востроносенькие, с поблескивающими глазками, оба носили гладкие прически, одежду схожих расцветок, так что издали и не различишь: разве что по юбке и штанам. Теперь, в пору всеобщей обрюченности, и вовсе бы не разобраться. И сын Васенька был, конечно, им под стать — мышка такая серая, пронырливая. Жил себе Замешкин, добра наживал — то шкафчик купит, то поварешку-нержавейку, то зеленую черепашку-пепельницу — так бы и жить. Но однажды — с чего бы? — глянул он на свою жизнь словно со стороны — на комнату, на жену, на сына... и содрогнулся. Может, какая женщина тут была замешана — неизвестно. Глянул Замешкин — и ушел от семьи. Ну, не без скандала, конечно. Но ушел. А еще говорят: супруги похожи — семья навек. Вот тебе и навек. Полгода Замешкин жил в том же городе, исправно платил алименты. Потом вдруг сорвался, уехал — и след его простыл. Ни алиментов, ни адреса.

Уж сколько жена скандалила, жаловалась, пороги обивала: сколько искала милиция — нету. Может, и в живых нету.

Но в живых Замескин остался. Только ездил по всей стране, мотался, где и как придется, лишь бы на месте подолгу не сидеть — в геологической партии кем-то, в колхозе счетоводом по договору, сторожем без оформления, кладовщиком. Сколько мест переменял — не сосчитать. Может, и подженивался где — кто его знает. А и это — не надолго. Всюду понемногу, а глядишь, годы и пролетели. Шуточки!

Приехал он как-то в большой сибирский город — знакомый написал, место, мол, тихое нашлось, и жилье есть какое-никакое. Он и приехал. Вышел на вокзальную площадь, глянул на башню с часами — время посмотреть, а там буквы светятся: такой-то день, такое-то число, месяц, год такой-то... И что-то в нем расшевелилось. Что за число?.. Господи, думает, да это ж Васькин день рождения! Надо же, сколько не вспоминал... А вправду — сколько? Стал считать — выходит восемь лет. Ты подумай! Да никак Ваське уже восемнадцать!.. Точно... Так ведь... алименты-то, выходит, ему больше не платить?.. Нет, вот же случай! Вся жизнь может перемениться...

И пока Замескин, два-три дня, договаривался, устраивался с жильем — он все думал. И, нет-нет, а поглядывал на стекла магазинных витрин, где отражалась его проходящая поношенная фигурка.

На четвертый день пошел он на почтамт, написал письмецо и отправил жене с сыном. С обратным адресом.

На том и попался.

В чем ведь еще беда наша — плохо знаем наши собственные законы. Уж на что Замешкин — бухгалтером работал, сам кому-то алименты начислял, а не знал того, что ежели скрывался от алиментов весь срок, так и после истечения могут стребовать с тебя все, что зажиллил.

Так и вышло: получила супруга письмецо — и в милицию. И взяла милиция Замескина на крючок, да больше и не отпускала. А может, и самому бегать надоело.

Васеньке теперь уже двадцать, но он исправно получает отцовские алименты.

Получает — и тут же отправляет своей жене, с которой уже тоже развелся.

## Рассказ доверенного лица

— Был и я, представьте, доверенным лицом на выборах... Да! На самых первых, в тридцать шестом! Чьим? А вот не угадаете... Алексея Николаевича Толстого!

В ту пору я корреспондентом «Литературки» служил по Ленинграду, ну, писательская организация меня, так сказать, и уполномочила. Тогда о Толстом тьма баек ходила, вроде знаменитого «Граф ушедцы в райком», я и сам повторял... но к поручению отнесся серьезно. Поди попробуй по тогдашнему времени — иначе отнестись!..

Первым долгом отправился в центр избирательного округа — Старую Руссу. Городок мне показался ничуть не тронут временем, избирательная комиссия — в патриархальном деревянном домике, заодно с аптекой, следов предвыборной кампании не наблюдается. Только в библиотеке городской у входа небольшой стенд, а над ним, на белой бумаге — выполненная цветными карандашами надпись: «Книги нашего дорогого кандидата в депутаты графа Алексея Николаевича Толстого»... Дорогой кандидат представлен был в библиотеке одними дореволюционными изданиями.

Ну, вернулся в Ленинград — оказалось, вовремя: через день начиналась месячная предвыборная поездка кандидата по избирательному округу, и уже выделили салон-вагон.

Отъезд назначили на семь утра. Чтоб не вставать до света, решил я отправиться на вокзал с вечера. Вокзал Московский был для меня второй дом: за годы собкорства в «Литературке» я несчетно уезжал отсюда в Москву и возвращался обратно. У входа сообщили: салон-вагон — на таком-то боковом пути. Платформа освещена, у вагона — часовой, тут же обретается знакомый железнодорожный чин. При виде меня он в шутку вытянулся и отдал честь:

— Здравия желаю, товарищ начальник!

— Вольно! — говорю. Расплылись мы в улыбках, поздоровались за руку, и прошел я в вагон. Часовой на меня лишь молча покосился. Располагаюсь в купе, гляжу на часы — еще и двенадцати нет, вся ночь — моя!.. Разделся, лег, заснул

мертвым сном. Где-то в самой сердцевинке ночи слышу грохот. Будто по крыше топчут железной! Проснулся — колотят в дверь купе. Ну, думаю, вот и вся поездка... известно же, что такое — ночной стук в дверь! Вскочил и, как был в белье — открываю. Стоит мужик в штатском, с лицом, знаете, такой глубоководной рыбы: все рыло — вперед, глазки выпучены, губки бантиком, словно вот-вот поцелуется...

— Ну, — говорит, — здоров ты спать! — шагает в купе, протягивает руку. — Вместе, значить, будем работать?..

Господи, думаю, неужели пронесло?.. А сам — весь в поту. Глубоководный оказался — таки из органов, посланный с нами в поездку. Часовой, конечно, доложил: прибыл какой-то в штатском, железнодорожник ему — «товарищ начальник»... Ну, глубоководный и решил: кто-то из другого управления!.. Сознаюсь честно: разубеждать я его не стал. Снова мы улеглись, каждый в своем купе. Утром, с некоторым опозданием, прибыл Алексей Николаич; мы и отправились.

Что вам сказать?.. Это был месяц пиршеств. Едва въехали на территорию округа — на первой же станции встретило нас местное начальство и закатило прием. И — пошло: кажется, во всю остальную жизнь я столько деликатесов не пере-пробовал. Вроде за столом и не жадничаешь, а к середине дня уж, бывало, еле дышишь. А вот Алексей Николаевич — тот был, так сказать, в своей стихии. Ел, пил без удержу, тосты, речи, и все так вкусно, со вкусом... Любил жизненные блага!.. В одном станционном буфете трогательная встреча случилась: буфетчик оказался бывшим метрдотелем дорогого петербургского ресторана предреволюционных времен. Как они друг другу обрадовались! Лобызались, буфетчик даже прослезился... Встречи с избирателями как-то в моей памяти не сохранились. Помню, несколько человек совали письма с жалобами, кто — Алексей Николаичу, кто — мне, для передачи.

Но районное начальство уверяло: в последний день будет в Старой Руссе грандиозный митинг, вот туда все и соберутся!..

Так и вышло.

Глубоководный всю дорогу проявлял ко мне братское внимание. Рискуя жизнью, предварительно пробовал на кухнях все, что подавалось на стол, дабы враги народа не отравили нашего кандидата в депутаты, и был в курсе всех предстоящих блюд. Выскальзывая из кухни и присаживаясь рядом, шептал мне, что этим вот, мол, смотри не наедайся, потому как сейчас принесут то-то и то-то, вот тогда — пальчики оближешь!.. Когда наступил, наконец, тридцатый, последний и решительный день, работы у него оказалось выше головы. Грандиозный митинг, который должен был транслироваться на всю страну, ожидался вечером, а с утра пошла нескончаемая обжираловка с выпивкой. Глубоководный едва успевал озабоченно курсировать меж кухней и столом. Очередной раз он появился, как-то особенно поблескивая выпученными глазами.

— Слышь, — зашептал он, — молочного поросенка несут, фаршированного, ну, я тебе скажу! — так ты смотри, пока не ешь... Я, правда, попробовал, но печать еще не поставил!..

Поросенка действительно вынесли и утвердили на столе прямо перед Алексеем Николаевичем. Было уже часа три. Сколько блюд успело перемениться, страшно вспомнить. Но Алексей Николаевич продолжал с аппетитом пить и закусывать, благосклонно выслушивая все тосты и красноречиво похваливая старорусское гостеприимство. При виде поросенка он заново оживился и тут же предложил выпить за искоренение всяческого свинства. К вечеру, однако, он был уже хорош. С трудом вылезая из-за стола, мы отправились на митинг — благо, требовалось лишь выйти в двери. Пиршественный зал выходил окнами на площадь, а трибуна располагалась у самого входа.

Городская площадь Старой Руссы, когда я видел ее днем, показалась мне небольшой. Но в сумерках, запруженная людьми до отказа, с неуверенно шарящим по головам прожектором, она выглядела куда обширней. Стоял ровный гул голосов. Когда мы появились и гуськом, осторожненько, стали подниматься на деревянную трибуну, гул усилился. При виде Алексея Николаича кто-то у самой трибуны заплодировал, и вся площадь захлопала. Секретарь райкома взял микрофон, объявил открытие митинга и, пару раз едва

не икнув, произнес прочувственную речь о нашем дорогом кандидате... великий русский писатель... Алексей Николаевич... Петр Первый... Речь повторялась динамиками. Исторический был момент: слушала нас по радио вся страна!.. Наконец, секретарь райкома приостановился и объявил выступление кандидата. Все снова захлопали. Алексей Николаевич сперва качнулся в нужную сторону, потом с некоторым запозданием сделал шаг, ухватился за ствол микрофона и громко сказал:

- Граждане!.. Временное правительство,.. которое мы с вами сегодня выбираем...

Все замерли. Динамики разом заглохли. Площадь молчала, видимо, не успев осознать. Секретарь, мгновенно протрезвевший, ухватился за микрофон, всем телом оттесняя и как бы прикрывая Алексей Николаича. За едва уловимой суетой — что-то сказали, метнулись, подали — все преобразилось. Алексей Николаич резко затряс головой, встряхнулся — и снова был у микрофона.

— Товарищи! — сказал он. И последовала нормальная предвыборная речь. Правда, по техническим причинам ее уже не транслировали.

Но выборы прошли прекрасно.

За Алексей Николаича проголосовало девяносто девять и семь десятых процента...

## Наследник

— Была, знаете, такая байка: может ли сын генерала стать генералом? Может. А сын генерала — маршалом? Нет! У маршала есть свой сын... А? Вы только не подумайте, что я в принципе против, так сказать, династий — в науке ли, в искусстве, в ремесле... или, опять же, в военном деле. Напротив! Но ведь в семье, знаете ли, не без уroda. Что ж тогда получается?... Вот у нас в институте такая история произошла. Директор наш — академик. Старый, заслуженный. То есть, я хочу сказать, с настоящими заслугами!.. Но, кроме открытий, сделанных в молодости, в зрелые года

произвел он на свет еще и сына. Да. И пустил его, конечно, по научной части. По своим, так сказать, стопам. Сын кое-как университет закончил. Поступили его, разумеется, в аспирантуру. Защитил кандидатскую... Ну, да кандидатская — что? Плюнуть и растереть! Но папаша не утомился. Докторскую ему сделал! Все решили: ну, теперь-то его душенька спокойна. Ан нет! Выдвинул сына в членкоры!.. Представляете?!.. Ну, у нас, ясно, все пальцем у виска крутят: сбрендил старик. Кто ж за сынка-то голосовать будет? Все знают его как облупленного! Это ж уже не докторская защита...

Ждем, однако, что будет.

И вот папаша (как потом выяснилось) вечером накануне выборов звонит одному из коллег-академиков. Так, мол, и так, у сына моего несчастная слабость к званиям, вы же знаете, добился выдвижения в членкоры... Я-то ему цену знаю лучше всех. Умолял его просто: сними кандидатуру! Нет... И вот завтра предстоит великий позор. Мой позор, коллега! Мой... Голубчик, прошу вас, вас единственного решаюсь просить: киньте ему белый шар! Ведь ежели ни одного белого шара... ни единого... какое черное пятно на седую мою голову!

Так папаша обзвонил всех.

Назавтра сынок прошел в членкоры единогласно...

## Трудный язык

В ту зиму февраль был в Ташкенте необычно морозный; говорили — и газ в трубах мерз, поэтому-де отопление в домах не действует. В обширном двухместном номере старой гостиницы, куда меня поселили, было четыре градуса выше нуля. Я кое-как переночевал; наступило воскресенье. Беготни не предвиделось — пересиливая себя, я сел, было, работать. Но тут в номере появился новый жилец.

Нельзя сказать, чтоб я обрадовался; мне обещали, что никого больше не поселят, если я соглашусь платить с воскресенья за оба места. Я согласился. Но этот плечистый



парень лет тридцати, с простоватым, симпатичным лицом, вошел с такой просительной, даже виноватой миной, что я поневоле подавил раздражение.

— Давно здесь? — спросил он.

— Со вчерашнего дня.

— А-а.. А я, вишь, пятый день в Ташкенте, да нынче первый раз буду в постели ночевать...

— Это как же?

— Ну как! Нету мест в гостиницах — и всё! Везде был — нету! Ну и кантовался — то на вокзале, то еще где. На скамеечках — холодно!.. Намаялся — сил нет, веришь?

— А ты, что — в командировке?

— Не-е!.. В отпуске. Отдыхать приехал, понял?.. Я ж из Кузнецка. Жена и говорит: поезжай — город теплый, и фрукты, и вещей купишь...

— Ну, ты даешь! — сказал я. — Кто ж в Ташкент отдыхать ездит! Да и покупать здесь нечего... Покупали бы дома...

— Так нет же ничего! Ничегошеньки!

— Ну, все равно... Зимой! Какие фрукты в феврале?

— Ну, дурак! Дурак... Жену послушал. Кабы знать... Понимаешь, тут вообще все одним иностранцам. Свой, советский — и не суйся! Зато, куда ни приди, всюду слышно по-английски: а-ла-ла, а-ла-ла... И — пожалуйста! Хотя они по-русски, между прочим, вполне шпарят...

Он вынул из рюкзака бутылку водки:

— Будешь?

Я отказался.

— Не хочешь... — сказал он грустно. — А я вот выпью...

Откупорил, налил стакан, выпил. Грустная мина исчезла. Налил еще один стакан, выпил, крикнул, потом допил остаток.

— Э-эх, давану я сейчас подушечку минут шестьсот... — тут он вдруг оживился. — Слушай! Я вот думаю. Все говорят: трудный русский язык, ох, мол, трудный!.. А как же иностранцы — месяц-другой у нас, а уже по-нашему балакают. Да?.. А я вот — десять лет в школе английский долбил, а одно только и знаю: «Май нам из Вася!»

Он посмотрел на меня с выражением мучительного вопроса, потом вдруг разом осоловел, точно эта проблема

окончательно исчерпала его силы, кое-как лег — и мгновенно уснул.

## Снайпер

Мы сехали поездом «Ташкент-Москва»; кроме меня, купе занимали старый ташкентский армянин — и пожилой мужчина с десятилетним внуком; дед с внуком возвращались из гостей к себе на Украину. Я удивился, узнав, что дед — машинист тепловоза: по виду он казался человеком сугубо интеллектуальной профессии.

— В школу вот торопимся, — сказал он, — и так уж на день опаздываем...

Мальчик возразил:

— Ничего-о! Подумаешь, один день!

— Ничего-о!.. — мягко передразнил дед. — А вот влпят двойку — будет тебе чего!

Мальчик посмотрел на него и сказал очень серьезно:

— В Советском Союзе двойки не ставят.

— Это почему же? — спросил я.

— Потому что! — сказал он. — Чтоб успеваемость не снижать!

Мы все засмеялись. Мальчик пожал плечами, не одобряя нашего смеха. Дед сказал:

— Всё-то они знают, всё понимают... — он нежно погладил мальчика по голове. — А, может, и мы такие были?.. Не-ет! Мы были народ верующий...

— Верующий?

— Ну, не в смысле — в бога, а верили... как бы сказать... в жизнь нашу...

— По-разному, наверно, было... кто верил, а кто и не очень.

— Нэ гаваритэ! — сказал армянин. — Вэрили! Всэ вэрили!

— Правильно! — сказал внуков дед. — А то как бы войну выиграли?.. Война-то какая была!

— Ну, война-то как раз... — начал, было, я.

Внуков дед прервал меня, очень твердо.

— Ну, про войну не надо. Вы на нее успели?

— Не успел...

— Ну, вот видите! А я — от звонка до звонка. Еще и японскую прихватил... вот как. Потом я много чего про нее читал — нет, не то... И Симонов, и Стаднюк... Война — это... Ну, ладно, я не писатель, конечно! Но внутри она у меня — вся, как есть. Это воспомина-ать — у-у-у!.. Нет, если б не верили — не сдюжили бы. Ни-как! Я вам точно говорю. Бывало ж — всё. думаешь, кранты!.. — он оживился от какого-то воспоминания. — Вот, помню, в сорок втором, на Северном Кавказе, немцы фронт прорвали. Оборона наша — вдребезги, и часть наша — в пух и прах, и оказались мы, четверо — в лесу... Пробираемся, а сами, между прочим, знать не знаем, куда: то ли к своим выйдем, то ли к немцам... Страшненько, знаете. Еще спасибо — осень была теплая, да жратвы с собой малость оказалось... — Лицо его вдруг помрачнело. — Между прочим, почему я тот эпизод запомнил — вещь тогда одна случилась... Мелочь, вроде... а так и стоит перед глазами. Подошли мы по лесу к прогалине одной, ну, притаились, высматриваем, нет ли кого, и тут — шорох... Замерли — глядим: косуля! Такая красивая — белая под солнышком, только на боку одном — коричневое пятно! Кажется, в жизни ничего красивей не видел... И откуда она там взялась, как уцелела?.. Да. Вышла — и стоит, головой поводит... И тут меня словно кто под руку толкнул: прицелился и выстрелил!.. До сих пор не пойму, зачем. Благо бы с голодухи — так мы не голодали, и столько мяса нам было не унести. И обнаруживать себя в том лесу ни к чему... Не иначе — бес попутал. Подошли — она уж мертвая... Не верите — сколько всего за войну повидал, а это до сих пор занозой в сердце: зачем такую красу стубил?..

Он замолчал. Мальчик смотрел на деда блестящими глазами; я только не понял — сопереживает он покаянному воспоминанию, или просто мысленно прицеливается в живую мишень?.. А дед снова заговорил — другим тоном, словно стараясь развеять возникшую картину:

— Не все, конечно, на войне такое грустное было... Вот, помню, через год, что ли, я в дивизионной разведке был...

Приказали подготовить переход группы. Я, значит, прибываю на участок нужный, гляжу — место действительно удобное, между нами и немцами всего метров пятьсот, поле такое клочковатое, с ямками, с холмиками... И давно уж они друг против друга стоят, не двигаются. Так что, видать, размагнитились — и те, и наши... Занял я наблюдательный пункт... — он сам себя прервал и пояснил: — Я вообще-то снайпером был... Да. Присматриваюсь и вижу: место на передовой у немцев облюбовано, вроде гальяна, — ходят туда оправляться. И прямо на виду у наших!.. Ах ты, думаю, гады какие! И наши, думаю, тоже хороши — под носом у себя такое не видят! Взял я это место на мушку — как немец появится, пристроится — я его: чпок! И готово... Так они так привыкли — верите, нет, еще полдня туда ходить продолжали. Вроде в другом месте оправиться не могли! За полдня я их семеро положил!.. Кувыркались — за милу душу... смех! — Он опять замолчал, улыбаясь. А меня что-то тоже «толкнуло».

— А немцы те... — спросил я, правда, без нажима. — Немцев тех... никогда вы так не вспоминали?..

— Немцев-то? — спросил он с искренним удивлением. — Фашистов-то?.. Так они ж не люди были... Звери!

## Книга

Пожилая женщина-маляр красит у нас лоджию. В перерыве — сидит в комнате, пьет чай, оглядывает книжные стеллажи.

— И-и, сколько книжек!.. Это ж надо. У кого ни работала — столько не видала. Сколько ж в них денег вколочено, мамочка моя! А толку? Мертвый капитал... Я вот за свою жизнь одну книгу прочитала — «Мать» Горького. Больше не схотела. Сына у ней посадили, так она пошла листовки носить!.. Передачи надо было носить, а не листовки. Не-ет, буду я еще читать — глаза портить!.. Лучше по людям работать пойду — лу-учше...

## На даче

В какой-то из дней пребывания в Союзе Роллан с женой поехали на дачу к Горькому. За ужином (приехали уже ближе к вечеру) Горький был мрачен, явно неразговорчив, много пил. Вскоре после ужина чету Ролланов проводили в отведенную комнату. Заснуть им, однако, во всю ночь так и не удалось: нещадно кусали клопы.

Утром к завтраку приехал Сталин. За столом он спросил:

— Ну, как вам спалось?

— Спасибо, прекрасно, — сказал Роллан.

Сталин засмеялся:

— Ну, как же прекрасно, когда вас всю ночь кусали клопы!..

Роллан принужденно улыбнулся: так вот почему Горький мрачен, столько пьет!..

Но что ответить, он так и не нашелся.

## Самый нищий колхоз

Я переводил на русский язык его поэму. Дело шло к концу, и он пригласил меня к себе. Я в его краях тогда еще не бывал — и согласился: взял командировку и поехал. Он, я знал, работает редактором областной газеты: но у себя в области оказался он куда более влиятельной фигурой, чем я предполагал. В аэропорту встретил меня, как владетельный князь важного иностранного дипломата, потом повез, как выяснилось, на обкомовскую дачу. Был уже вечер. Меня привели в огромный номер из двух комнат с ванной, в которой можно было купать слона.

— Утром приеду! — сказал он деловито и тут же исчез.

— Ужинать будете? — спросил сопровождающий.

Я с ужасом прикинул во что обойдутся эти ханские апартаменты, и понял, что ни о каком ужине не может быть и речи.

— Нет, — сказал я. — Не хочется, спасибо...

— Так чай принесу?..

От чая я отказаться не посмел.

К чаю были дорогие шоколадные конфеты, варенье и пирожное.

Всю ночь мне снилось, будто я заблудился в катакомбах, и пробуждение на рассвете показалось мне счастливым избавлением. Я вышел в холл, щедро отделанный мрамором. Сопровождающий сидел там, выполняя теперь как бы роль портье.

— Завтракать будете? — спросил он любезно.

— Нет, спасибо, я так рано не ем... Не приезжал мой... мой друг?

— Прие-едет, — успокаивающе сказал портье.

Я помолчал, помялся.

— Я бы хотел... расплатиться...

— Куда спешить... — сказал портье нехотя.

У меня екнуло сердце. И ему, видно, неудобно назвать эту страшную цифру!

— Да я, может, сюда не вернусь! — сказал я, идя напролом.

— Ну... — ответил он так же нехотя. — С вас полтора рубля...

— Сколько? — спросил я, пораженный.

Он поднял брови: никак я решил, что меня обсчитывают?

— Полтора рубля! — повторил он заметно суше.

— Пожалуйста! — сказал я дрожащим голосом, вытаскивая два рубля.

— Счас сдачи принесу! — сказал портье не глядя.

Я замахал руками:

— Что вы, зачем!..

Этот обмен любезностями прервал мой автор: он появился в дверях.

— Э-э, зачем платил?! — сказал автор. — Что, сам не рассчитаюсь?.. Ладно, поехали!

И мы отправились — посмотреть знаменитые древности, расположенные километрах в тридцати. На осмотр ушло полдня. Потом мы снова уселись в машину, но, едва тронулись, я заметил, что едем мы вовсе не в сторону города.

— Куда это мы? — спросил я.  
— Э-э... заедем один колхоз... посидим...  
— Слу-ушай! — сказал я. — Поехали-ка лучше в город!.. Нам над рукописью посидеть надо! А времени у меня мало...  
— Э-э, недолго же!.. Надо. Посмотришь!.. Это — самый богатый колхоз в области!

Я смирился: машина все равно уже стремительно несла нас в ту сторону, а мелькнувшая в сознании картина обеда разбудила во мне дремавший дотоле зверский аппетит: как-никак, я ведь не завтракал.

Мы неслись, изрядно потряхиваясь, по разбитой дороге, обочь которой тянулись голые тощие поля с проплешинами солончаков. Полчаса спустя слева от дороги завиднелись приземистые серые строения: через четыре минуты мы въехали в ворота с яркой надписью наверху на арке: «Путь к коммунизму». Квадратный двор был мусорно пуст, пустынным нежилем пах и длинный коридор самого правления. Открывая одну дверь за другой, мы обнаружили, наконец, в какой-то из комнат худошавого человека в некоем подобии сталинского френча и с перевязанными веревочкой очками на носу. Где председатель? спросил мой автор. Оказалось, уехал в район. Автор ругнулся, потом спросил: а ты кто такой? Бухгалтер колхоза... Когда председатель будет? Кто знает, сказал бухгалтер. Автор назвал себя. Бухгалтер приложил руку к груди и покорно кивнул. Хоть чаем пока напои, сказал автор, с нами гость из Москвы! Бухгалтер опять кивнул, с явным замешательством. Разговор велся на том самом языке, с которого я переводил поэму, но так как переводил я ее с подстрочника, то о смысле разговора лишь догадывался, улавливая отдельные слова: «председатель» (это слово на местном языке я знал): «район», «бухгалтер», «чай», «Москва»...

Бухгалтер бочком выбрался из-за стола и пошлепал по коридору. Иди с ним! — сказал автор водителю. Оба они исчезли. Мы уселись на колченогие стулья у маленького столика. Появился водитель с чайником и пиалой. Чайник был едва теплый, а единственность пиалы привела моего автора в настоящую ярость. Он что-то прокричал водителю,

и тот снова исчез. Автор поглядел на меня, с трудом успокаиваясь...

— Это — средний колхоз... — сказал он извиняющимся тоном. Я кивнул.

Опять появился водитель — с еще одной, выщербленной по краю пиалой и плоской тарелочкой в руках: тарелочка была обильно засижена мухами, а лежавшие на ней несколько леденцов выглядели так, словно их однажды уже пробовали и положили обратно. Реакцию моего автора трудно передать. Он побагровел, длинно выругался и сказал мне яростно:

— Это... это — самый нищий колхоз весь область!.. Мы поднялись и уехали.

## *Разговор с президентом*

Известный ленинградский профессор писал книгу о смерти Толстого. Копаясь в архивах, среди тысяч телеграмм соболезнования Софье Андреевне он нашел одну, от группы луганских рабочих, подписанную, в частности, Климом Ворошиловым. Ворошилов был теперь Председателем Президиума Верховного Совета. Профессор решил, что пренебрегать выпавшим случаем не стоит, и написал Президенту письмо с просьбой поделиться обстоятельствами отправки телеграммы.

Сам профессор был человек субтильный, рафинированно интеллигентного и как бы болезненного облика; он уверял, что простужается даже от первых весенних огурцов. Жил он почти все время на даче, и лишь раз или два в неделю приезжал в город — читать лекции в университете.

В один прекрасный день ему позвонили; враждебно скрипучий голос сообщил, что говорят из облисполкома — писал он товарищу Ворошилову?

— Писал, — сказал профессор.

— Климент Ефремович просил передать: можете ему позвонить.

— Но... как позвонить?

— Приезжайте к нам — мы соединим. Завтра можете?

Профессор, по давней привычке крайне занятого человека и как-то забыв, со сколь высокими инстанциями имеет дело, сказал механически:

— Завтра — нет... в четверг буду в городе на лекции... часа в три вас устраивает?

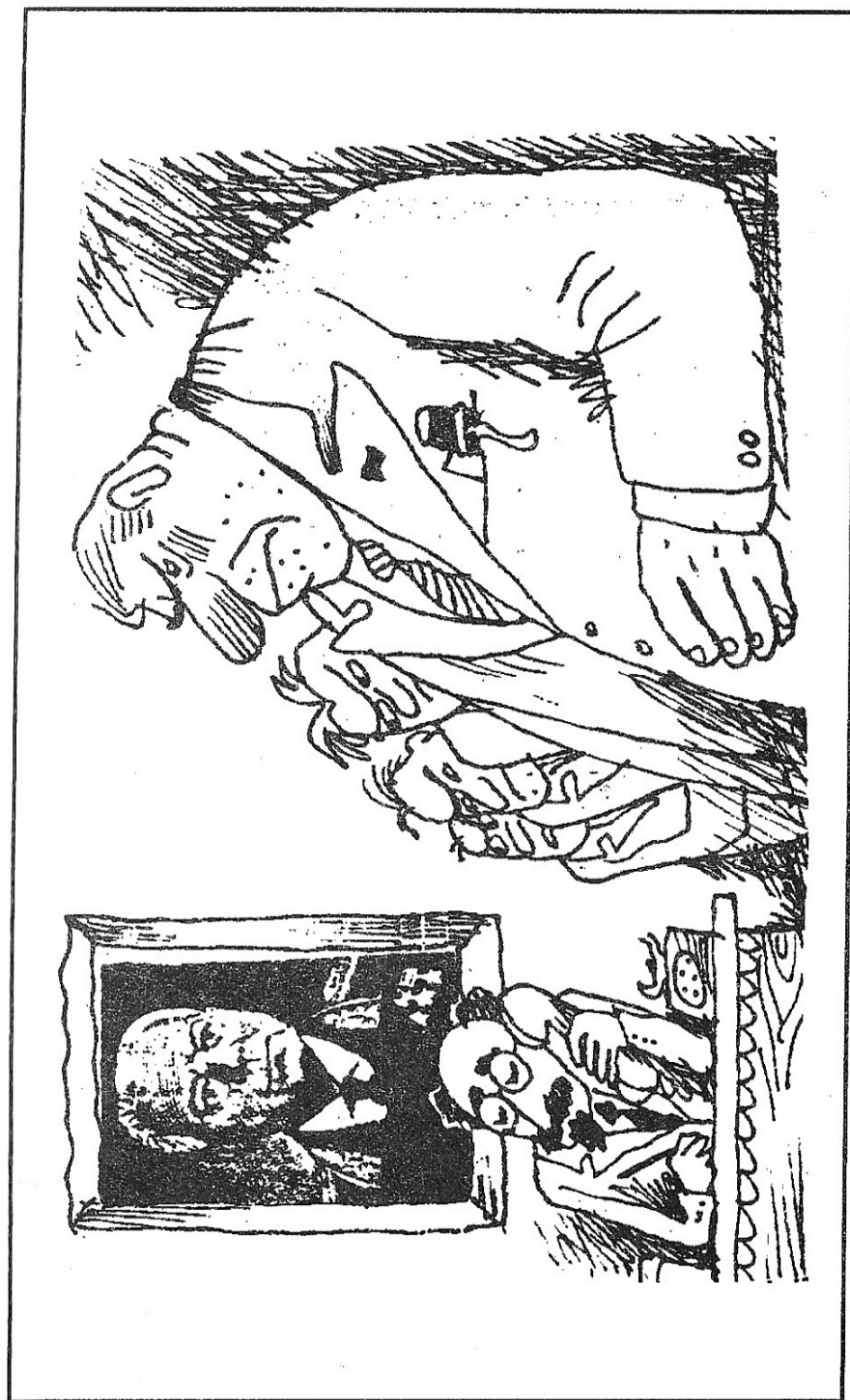
— Нас все устраивает, — так же скрипуче-враждебно сказала трубка и, не прощаясь, щелкнула.

В четверг, ровно в три, пройдя, как положено, через Бюро пропусков Смольного, профессор входил в приемную предоблисполкома. По пути к дверям кабинета выстроились в ряд три человека и ненавидяще ели его глазами. Уже весь настраиваясь на предстоящий разговор, профессор подумал бегло: наверно, заместители и помощник... но с чего это они так злобно смотрят?.. И вдруг его осенило: облисполком в последнее время грозил отобрать у интеллигенции собственные дачи — вот, небось, и решили: его письмо — на эту тему!..

Первый в ряду молча указал рукой на двери кабинета.

Профессор кивнул и вошел.

Он оказался в огромной комнате, в другом конце которой стоял обширный письменный стол, обставленный креслами. За столом, в главном кресле, восседал необъятной толщины и громадного роста мужчина: сидя он напоминал кабана, вышедшего попасть. При виде профессора мужчина привстал, и сходство с кабаном усилилось. Это и был предоблисполкома. Профессору тут же вспомнился рассказ о том, как предисполкома принимал Сукарно, когда индонезийский президент посетил Ленинград. Сукарно попросил разрешения задать несколько вопросов. «У вас в городе такой сырой, туманный климат — как у вас со смертностью?» Предисполкома подумал, пожевал губами. «У нас в городе смертности нет!» — сказал он. Сукарно это перевели, но он, опытный дипломат, и ухом не повел. «Скажите, — спросил он снова, — а как у вас в городе с проституцией?» Предисполкома, не задумываясь: «Это для нас не проблема!» Больше Сукарно вопросов не задавал.



Этого деятеля профессор, наконец, впервые и увидел.

— Садит-сь! — буркнул он вместо приветствия; профессор сел — Счас закажу! — и, сняв трубку одного из телефонов, проворчал некую формулу. Одновременно за спиной профессора прошелестела и со слабым звуком закрылась дверь: троица из приемной в прежнем порядке выстроилась у стола. Минута прошла в молчании. Телефон слабенько зазвонил. Предисполкома схватил трубку и сладко изменившимся голосом сказал, что гражданин, написавший Клименту Ефремовичу, здесь, кивнул в ответ на какие-то слова из трубки и протянул ее гостю:

— Климент Ефремович счас подойдет... — тон был неопределенный; он помолчал, потом сказал:

— Нам, шо, выйти?

Вопрос был для профессора неожиданный: ему не приходило в голову, что сношения Ворошилова с Софьей Андреевной по телеграфу можно счесть охраняемым секретом — мысли его были уже всецело заняты ответственной беседой. Вместо ответа он пожал плечами: дескать, как угодно. Но предисполкома понял по-своему. Он злобно фыркнул и пошел прочь от стола, а за ним гуськом потянулись остальные. Вся процессия исчезла в маленькой боковой дверце у книжных стеллажей, которой профессор раньше не заметил.

В Москве к телефону подошел Ворошилов. Он был крайне любезен; как многие старики, сходу забывающие, что случилось только что, он зато отлично помнил давние времена и с удовольствием перебирал подробности. Профессор спрашивал и спрашивал, решив сделать из этого в книге целый эпизод.

В середине разговора боковая дверца вдруг отворилась, оттуда бочком выбрался последний из четверки, с фальшиво озабоченным видом приник к стеллажу, вытащил том сочинений Ленина и принялся в нем якобы что-то искать. Ухо, однако, стояло у него торчком, как у прислушивающейся собаки. Выловив из разговора слова «Толстой», «Софья Андреевна» и «Ясная поляна», явно не относившиеся к проблеме экспроприации дач, он отшвырнул книгу и помчался к хозяевам.

И могучий караван тут же выплыл в обратном направлении. Когда предисполкома поравнялся со своим столом, интеллигентный профессор, еще занятый телефоном, машинально сделал жест вежливости: указал предисполкому на его собственное кресло: садитесь, мол...

Этого хозяин области, казалось, перенести уже не сможет: его прямо-таки перекосило!.. Но тут как раз профессор стал прощаться с президентом. И предисполкома вновь преобразился. Зашипев, как вода на сковороде: «Не кл-дите!.. Х-чу п-говорить с Климент Ефремовичем! Не кл-дите!..» — он выхватил трубку и согнулся перед телефоном в поясном поклоне:

— Климент Ефремович! Эт-я! Я... Смирнов...

Под эти теноровые звуки профессор и вышел из кабинета.

## *Фрол Романович*

Многие успели забыть, кто это. Многие, но не те, что были с ним знакомы. Одна дама уверяла: мужчина был редкого обаяния. Ей лучше знать. Но, кажется, и сам Фрол Романович так полагал. И обаянием своим старался пользоваться — и когда был хозяином Ленинграда, и после, в Москве. Однажды, в ленинградскую зимнюю пору, пригласил он к себе Георгия Александровича Товстоногова и предложил ему стать художественным руководителем «Ленфильма».

— Простите, — сказал Георгий Александрович своим аристократическим басом, — но я человек театральный, в кино никогда не работал!..

Фрол Романович привстал, положил ему руку на плечо и сказал:

— Ну что вы! Вы такой дирижер, такой дирижер — вы справитесь!

И так сказал проникновенно, с таким, действительно, обаянием, что трудно было устоять.

Товстоногов, правда, устоял.

Ну вообще-то Фрол Романович земной был человек. Любил родную землю. И все ее плоды. В Москву, помнится, переехал он весной, и чуть ли не на роль второго человека в государстве!.. А неделю спустя на даче его ленинградской, на Карельском перешейке, появились молодые люди и стали выкапывать посаженную на огороде картошку. Картошки много было, гектара два, так что возились долго. Случившийся поблизости старичок из соседней деревни, любопытствующий такой выпивоха, поинтересовался:

— Что-то вы, ребята, картоху копаете? Только что же сажали?

— Копаем — значит, надо! — угрюмо отрезал один.

Второй, более разговорчивый, сказал:

— На другой даче посадим! Понял, дед?..

— А-а! — сказал старичок. — Ясно...

Хотя ему было неясно. Он уж после дотумкал, когда узнал, что хозяин на даче сменился.

Но к Ленинграду Фрол Романович, видно, сильно привязан был. И, из Москвы уже, частенько наезжал. Интересовался делами. В начале шестидесятых раскручивалось там дело местной промышленности — артельщиков, подпольных фабрикантов, торговой братии. Человек двести проходило, огромный готовился процесс. И ключом ко всему малозаметный был один завскладом. То есть не только ключом к процессу — он всему этому был голова!.. Уже когда это выяснили, и роль его стала понятна, и явно было, что главные-то ценности нахапанные — у него, нич-чего не могли найти!.. Пока кому-то не пришло в голову: на кладбище поискать. Хранил же он все в склепе жены покойной. Эту историю даже в одной детективной повести использовали — правда, про весь его процесс писать там не стали. Ну, вот — уже и следствие закончили, и суд готовился, и тут приезжает из Москвы Фрол Романович. Назавтра дело этого завскладом из общего дела изымают, послезавтра — завскладом уже судят, приговаривают к расстрелу без права обжалования, на третий день приводят приговор в исполнение, а на четвертый — Фрол Романович уезжает в Москву. И весь огромный процесс — рассыпается, словно картонный домик.

Оно, конечно, и тогда кое-кто кое-что понял. А некоторым, я думаю, и понимать было нечего — знали. Но скандал разразился лишь года два спустя, и то, можно сказать, по несчастному случаю. Дружок ближайший Фрола Романовича, Николай Иванович, председатель ленинградского облисполкома, разбился в своей машине где-то на загородном шоссе. Похоронили его с помпой, проспект его именем в Питере назвали (и сейчас так именуется), а когда вселился уже в его кабинет новый человек, стал завалы разбирать и сейф открыл — ошалел: полон сейф валюты и драгоценностей! С перепугу выскочил в коридор, людей созвал, тут скандал и разгорелся, пришлось поневоле копать, а конать-то было — неглубоко: все на поверхности. И Фролу Романовичу прямо в Президиуме ЦК Никита Сергеевич предъявил обвинение — в причастности к махинациям с импортными товарами, в том, что счета завел в западных банках... словом, полный джентльменский набор. И Фрола Романовича, победно, без запинки поднимавшегося по лестнице власти, тут же, на Президиуме, хватил от неожиданности удар.

Лежал он, конечно, в кремлевке; несколько раз навещал его там Никита Сергеевич. Приедет, посидит у постели, потреплет по плечу: «Выздоровливай, Фрол, выздоравливай! Выздоровеешь — судить будем!» — и уедет.

Но суда Фрол Романович не дождался — умер в больнице. И ведь молодой еще был мужчина, лет пятидесяти с небольшим...

Еще бы жить да жить.

## *Кольшки*

### *Рассказ археолога*

— Во второй половине пятидесятых копали мы под Бухарой. В самой Бухаре перевалочной базой служила нам хужра в медресе Мир-Араб, где жил Сергей Николаевич Юренев. Замечательный был человек, особенной судьбы! О нем — рассказывать и рассказывать, но это разговор от-

дельный... Так вот: обычно экспедиция съезжалась по два, по три человека; но однажды весной нагрянули все сразу. Не то что у Сергей Николаича, а и рядом во дворе всем расположиться было негде; и спальных мешков нехватало; ну, милый наш хозяин и попросил соседку приютить хоть троих женщин.

В хужре у нее стоял худой шкаф, облезлая никелированная кровать, кухонный столик с керосинкой, два колченогих стула. Сама хозяйка была, верно, лет пятидесяти. Из-под косынки выбивались сивые жидкие волосы, лицо — в мелких морщинках, у рта — горькая складка, глаза — беззащитные какие-то. Она засуетилась, разожгла керосинку, чайник поставила, хлеб вытащила — больше-то, я думаю, ничего у ней и не было. У нас еда была; закипел чайник — и мы устроились ужинать.

— Одна живете? — спрашиваем.

— Одна, милые, одна...

— И все — в Бухаре?

— Так уж, почитай, лет двадцать пять... нет, все тридцать! В Бухаре, да, милые, в Бухаре... Вот и площадь, видишь, получила. С сыночком раньше жила. Сыночек со мной, милые, жил, да...

Она сжала губы, как бы удерживая себя. Мы молчали, пили чай.

— Да... — сказала она, наконец. — Тридцать лет почти что... И не выезжала никуда. Раз только. И то не сама...

— Не сама? Как это?

— А так... повезли... — и вдруг заговорила быстро, торопясь, как бы восстанавливая не единожды рассказанное. — В тридцать шестом мужа моего, видишь, забрали... мы, правда, уж не жили тогда. Я с сыночком малым угол снимала... и фамилия другая. Я и узнала-то не сразу. А узнала — думаю, меня не касается: сам, небось, напросился. Ругатель он был... скандалист!.. Да. А через несколько времени, в тридцать седьмом уже — и меня взяли! Да как... сereдь ночи! В чем была... еле платье натянула... сыночка обняла... Мы жили-то ох как плохо, ничего у нас не было, ну он и привычный был ко всему, сыночек мой, умный, тихий... Семь лет-то всего был, видишь. Проснулся, встал, глядит во



все глаза... Глядит — и не плачет. Ни словечка. У меня сердце оборвалось. Завопила бы, да знаю — нельзя! Обняла его — да так и ушла с ними... А он остался...

— Один?!..

— То-то, что один. Как перст. И с квартиры, с угла того, его видишь, погнали. Где жил, как жил?.. На улицах, обеды-ки подбирал... Ктой-то прикормит иной раз, из милости, а так...

— Да за что же вас взяли-то?

— Кто знает!.. Я, видишь, так и не поняла...

— Допрашивали ж, наверно?

— Допрашивали... побили маленько... Все одно — не поняла я, чего им надобилось. Я думаю, для плану взяли... Держали-то сперва в Бухаре, потом погрузили, повезли куда-то. Далеко-о... Что за место, доселе не знаю. Так, с виду, на Сибирь вроде похоже...

— Лагерь, что ли, это был?

— Не-е, люди говорили — пересылка. Да вдруг, через неделю, вызывают меня — ехай, говорят, домой, свободная!.. Господи! Бог, думаю, глянул на моего сыночка!.. Уж как назад схала — не помню, словно в забвении была. Только знала скорей, скорей!.. Вернулась в Бухару, побежала, где мы жили, хозяйка меня и не впустила: уходи, мол, нету здесь сынка твоего! По улицам пустилась, бегала, бегала — встретила! Весь черный, оборванный и словно усох. Как меня увидел — кинулся, прижался — и молчит... Го-споди! — она беззвучно заплакала, потом утерла слезы. — Да, сняли мы с ним, значит, угол, и уборщицей меня взяли. А он, как вечер — пойдем, мама, погуляем... Мало, говорю, ты на улице пожил? Нет, говорит, пойдем, мама. Вышли с ним на площадь к Арку. Давай, говорю, постоим. Нет — тянет куда-то. Обошли стену-то, а там — пустырь. Мам, говорит, я здесь каждую ночь вона за тем дувалом сидел!.. Господи, говорю, сыночек, зачем?!.. А сюда, говорит, людей привозили, расстреливать. Я и караулил — не привезут ли тебя... Ах ты, бедненький мой!.. — она опять так же беззвучно заплакала, так же утерла слезы. — Он мне говорит: видишь, мама, колышки деревянные? Вижу, говорю. Под ними, говорю, те закопаны,

кого расстреливали. Сынок, говорю, а колышки-то зачем? А чтоб, говорит, в этом месте не копать больше! Откуда ж ты знаешь? Да я же все видел! И слышал, что они говорили... — слезы у нее лились, она уж и не утирала. — Сидел, маленький, голодный, замерзал, поди, смотрел на всю страсть-то — караулил меня... а я... я не укараулила! Господи!

— А что... что с вашим сыном?

— В армию взяли... за прошлый год... Письма писал... сыночек мой! Два раза на неделе писал... А потом — молчок... Ни словечка! И вдруг... из части письмо... Несчастный случай... на ученьях... Во-от... И все! И все! И колышка не осталось! И колышка-а!..

И заплакала в голос.

## *С партийной прямой*

Рассказывал старый узбекский журналист. Долгие годы — тридцатые, сороковые, пятидесятые — он работал в узбекистанском ЦК и многому был свидетелем. Мы шли по дороге от писательской дачи к совхозным полям. Слева тянулся неогороженный сад — густо опущенные белым яблони; справа расцветшая джида протягивала, как руку, длинную желтую ветку. Огромные мозолистые талы возносились над арыком, что протекал метра на два ниже дороги. Впереди, на повороте, столпились старые тополя. Юлдаш-ота стал объяснять мне, какие бывают виды тополей — «кок-терак», «мирза-терак» и еще, и еще... Потом сказал:

— Вообще, знаешь, нинадежный дерево... Загнивает. Ломаются тоже легко... Почти как люди.

— Что, Юлдаш-ота, все люди такие?

— Не все, сынок... Есть как камень. Знаешь, настоящий человек — вроде камень. Усман Юсупов такой был.

Он долго работал с Юсуповым и любил о нем вспоминать:

— Сильный был человек, правильный; один раз, во время войны, против всех пошел, сократил посев хлопка — сил не было обработать. Москва тогда чуть его не съела, Сталин

спас: правильно поступил товарищ Юсупов, очень правильно, а вы не понимаете... Знаишь — сам Сталин!

Этим эпизодом Юлдаш-ота очень гордился. Впрочем, он еще многое рассказывал...

В тридцать седьмом, в связи с арестом Акмаля Икрамова, создали пленум узбекистанского ЦК. Один из секретарей, назначенный занять освобождающийся пост, должен был выступить с разоблачительной речью. После этого пленуму полагалось Икрамова из партии исключить и выбрать нового первого. Подготовленный кандидат, много лет проработавший с Икрамовым, с речью, конечно, выступил. Но далеко не той, какую ждали: обличения прозвучали чуть ли не извиняющимся тоном. Пленум прервали до утра; тем же вечером арестовали незадачливого кандидата; новым кандидатом оказался Юсупов. Назавтра он произнес речь, какая требовалась. «Скажу с партийной прямоотой...» — так он начал.

— Знаишь, — говорил мне Юлдаш-ота, — он хорошо понимал: раз партии надо...

Понимал. С этого и началась его долгая, прочная политическая карьера.

Пошел год тридцать восьмой. В разоряемом арестами обществе требовались иные слои, на которые можно опираться; новый хозяин республики пригласил к себе группу молодых писателей. С другими пришел и поэт, уже года полтора бывший в опале. Его, собственно, не приглашали — привели товарищи, чтоб помочь ему, так сказать, выйти из подполья. Принимал их Юсупов вместе с помощником, тоже сравнительно молодым литературным критиком Сетти Хусейном, на совести которого, впрочем, было уже несколько писательских судеб из загубленного старшего поколения. Юсупов пригласил всех высказываться. Третьим или четвертым неожиданно поднялся тот самый опальный поэт.

— Усман-ака, — сказал он, — хочу откровенно сказать, вы же нам как отец. Знаете ли, кто с вами рядом работает? Вот помощник ваш Сетти Хусейн — что всем говорит? Что Юсупов пишет, что Юсупов говорит — это, мол, все я. Я пишу, я готовлю... Мы, конечно, не верим, мы вас знаем, а кто-то может и поверить! Зачем вам такой помощник?..

И сел.

Юсупов яростно повел глазами на Сетти Хусейна, потом сказал выступившему поэту:

— За правду, сынок, спасибо... Спасибо, что с партийной прямоотой высказал!

Через два дня Сетти Хусейна арестовали, и он стигнул навсегда. Опальный же поэт не только вышел из опалы, но и стал поистине юсуповским любимцем.

Третий эпизод оказался в полном смысле слова последним. К тому времени Юсупов уже однажды покидал Ташкент в качестве союзного министра хлопководства: был такой план — разводить хлопок даже на Украине. Когда предприятие провалилось, Юсупова вернули в Ташкент — председателем Совета министров. В ту пору и приехал сюда в очередной раз Никита Сергеевич Хрущев. На второй день отправились смотреть передовое из передовых — хозяйство Хамракула Турсункулова. Никита Сергеевич был одержим идеей сузить хлопковые междурядья и тем увеличить урожай на прежней площади. Юсупов, человек в хлопководстве достаточно наторелый, знал, что суживать междурядья нельзя, это приведет только к потерям и вырождению сортов. Но спорить вслух не решался, делал свое дело втихомолку. Тут, однако, грозила настоящая «ревизия».

В машине ехали трое: Хрущев, Юсупов, Турсункулов. По дороге Юсупов негромко сказал Турсункулову по-узбекски:

— Слушай, если спросит, скажи, сузил до тридцати... Он же линейкой мерить не будет...

Хрущев, сидевший впереди, разговор услышал и, не поняв, что-то все же учуял по тону. Когда вышли из машины, он сказал Турсункулову:

— Ну-ка, что он тебе там по-узбекски говорил?.. Давай, давай, с партийной прямоотой!

И Турсункулов, тот самый Турсункулов, которого Юсупов когда-то избавил от несмываемого, казалось, пятна судимости по делу об убийстве Хамзы, от напоминаний о басмаческом прошлом; кому сверх всяких норм помогал сделать хозяйство лучшим из лучших — бесконечными «вливаниями» и льготами; обеспечил по крайней мере первую из его трех

звезд Героя социалистического труда — этот самый Турсункулов, на Юсупова не взглянув, передал Хрущеву все его слова.

Хрущев сверкнул глазами, побагровел:

— Ну молоде-ец, Усман! Молодец, так твою мать!..

Через месяц Юсупова сняли с поста, и это был уже окончательный крах карьеры. Еще некоторое время он работал директором совхоза, потом вышел на пенсию.

## Фотограф

Пришли мы с ним в больницу в один и тот же день. Меня провожала до приемного покоя жена, и как раз когда мы входили в парадную дверь больницы, он выскочил навстречу с озабоченным и недовольным видом — маленький, коренастый, с кругловатым свежесбритым лицом. Я, помню, подумал, кто бы это мог быть. А через час он вошел в ту самую палату, куда меня уже поместили — и занял единственную свободную там кровать: рядом с моей, стоявшей у окна. Так мы оказались ближайшими соседями — и товарищами по всяческому не слишком приятным процедурам.

Больница размещалась в бывшем кадетском корпусе, палатами служили дортуары — большие комнаты, заставленные множеством кроватей. В нашей их было, кажется, двенадцать. Меня встретила мешанина голосов: в разных углах велось несколько разговоров, но все перекрывал громовой настырный бас тяжелого краснолицего мужчины в центре палаты. Он что-то не то рассказывал, не то втолковывал соседям — безапелляционным тоном глашатая указов или судьи последней инстанции. Оказалось, это столичный таксист с большим стажем; естественно, он мог судить обо всем на свете.

Отправляясь в больницу, я уже знал, что мне предстоит провести там не меньше месяца, и решил, вопреки всему,

работать над рукописью: сроки меня поджимали. Но, войдя в палату, с отчаянием увидел: какая тут работа! Мысли собственной не услышишь... Принялся я, было, сооружать себе затычки для ушей; тщетно: все они пропускали звуки, как сито воду. Я отступился — и через несколько часов с радостью обнаружил, что могу не только не вслушиваться в этот шум, но даже отключаться от него!.. И принялся помалу трудиться.

Как ни странно, в комнате, перенаселенной дюжиной больных мужчин, ровно ничего не делающих и балдеющих от безделья и тревожных мыслей, положение чем-то упорно занятого человека — особое. Он не то чтобы служит укором остальным — с чего бы? — но самым фактом своей занятости вызывает невольное... уважение, что ли. И меж мною и остальными образовалась некая дистанция, хоть я старался всячески ее не замечать. Ничейную эту землю переступал постоянно лишь мой ближайший сосед. Ну, во-первых, какая там могла быть между нами дистанция, если кровати стояли почти вплоты! Во-вторых, он хоть и оказался моложе меня лет на десять — было ему не больше сорока — но в этой больнице, в отличие от меня, уже побывал, и не единожды, и посему квалифицированно меня просвещал насчет предстоящих назначений и процедур, да и вообще здешних инструкций и нравов. Словом, старался быть чем-то вроде присяжного носителя здравого смысла, этакое Санчо Пансы, при моей, поглощенной, как он полагал, сугубо отвлеченными занятиями особе.

К тому же нас сблизало, что мы пришли сюда в один день и равно были новичками среди старожилов палаты. Сие, впрочем, оказалось обстоятельством недолговременным: он скоро сделался центром внимания.

Выяснилось: по профессии он фотограф. Не просто ремесленник из ателье, шлепающий сотни карточек для паспортов, а скорее свободный художник: работал по заказам организаций, ездил в экспедиции, подвизался на киностудиях, снимал что-то для журналов. По натуре же являл собою немислимую помесь холерика и сангвиника. Вечно озабоченный, на что-то досадающий — и в то же время эдакий живчик и чуть ли не душа общества. Забот в жизни у него,

судя по всему, было много, хотя семья обременяла его невеликая: жена, сынишка — да престарелый тессть-пенсионер, переехавший откуда-то из глухой провинции. В больнице главной его заботой служило, естественно, лечение. Человек он был, возможно, и нездоровый, но мнительность опережала его недомоганья минимум на две пятилетки. Он был жаден до лекарств, как иные до сладостей. Едва кому-нибудь, в нашей палате или соседних, назначали новые таблетки или уколы — он тотчас отправлялся к врачам: нельзя ли и ему назначить то же?.. Как правило, ему отвечали: при вашем диагнозе это вовсе не нужно и даже вредно! Но он этим редко удовлетворялся и шел восвояси, ворча и покачивая головой: был уверен, что на нем просто экзюмируют медикаменты. Столь же охоч был и до процедур. Однажды нас с ним назначили на сложный анализ, который следовало повторять каждые три часа в течение суток; что ж вы думаете? Он целые сутки не спал, лишь бы не пропустить сроки, да и меня дотошно расталкивал...

При этом, повторяю, он вовсе не был занудой — напротив! Легко вступал в разговор, слушать умел, а главное — то и дело рассказывал байки из собственной жизни, от которых вся палата помирала со смеху. Сам он сохранял серьезный, эпический тон; казалось, его отнюдь не смущало, что во многих своих рассказах он предстает отнюдь не в лучшем виде: в большинстве фигурировали разные желудочные неприятности... Я, было, заподозрил, что все это он выдумывает, дабы потешить публику. Но нет — у него, судя по частым пробежкам до туалета, и впрямь был слабый желудок... И вообще, видно, ему на такие случаи везло. Так или иначе, а уже через дня два-три, стоило ему улечься в излюбленной позе — на спину, глядя в потолок — да изречь классический зачин, которым открывались любые, без исключения, его байки:

— Был у меня один малый... — как все в палате, кто бы как себя не чувствовал, поворачивались на своих постелях в его сторону, словно подсолнухи к солнцу, и, с невольными улыбками, готовые захохотать, замирали в радостном ожидании.

— Был у меня один малый, — рассказывал он, — в больницу лег с глазами. Оперировали ему глаза, что ли. Ясное дело, завязанный. Так он ночью, вслепую, сестричку одну трахнул. Потом сняли ему, значит, с глаз повязку — ходит по всей больнице, ищет: кого же он поимел?.. — Общий хохот, потом, отсмеявшись, кто-то спрашивает: «Ну и что?..» — Что, что... Так и не нашел!. Но вся хреновина в чем...

— Это тоже было его постоянным присловьем — вроде преддверия к концовке или морали.

— Был у меня один малый, хороший такой мужик, но, понимаешь, как выпьет — так из него и льется. Весь диван у меня обоссал, ей-богу! И еще у него приход: сам жутко близируется — очки долой и кидает через всю комнату! Как понедельник — после воскресенья — так идет за новыми очками... Вся хреновина в чем: у нас с ним знакомая в оптике была... Так она его так и звала: «кормилец!»

Фотограф чуточку заикается. Это не всегда заметно, но в целом придаст особый шарм его рассказам. Он, как правило, не участвует в обязательной для мужской палаты переборке стандартными остротами, вроде: «Мочилась ли ты на ночь, Дездемона?» или «Не матерись, а то в женскую палату переведем!» — нет, это совершенно не его жанр. Его специальность — бытовая новелла, характерная деталь:

— Был у меня один малый, нервный такой. В сумасшедший дом попал. Пришли мы его проведать, так там решетки — что ты! Двери — хрен выйдешь. А санитары — все амбалы, вроде тебя...

Или:

— Был у меня один малый, директор нашей киногруппы, ну, так-кой алкаш! Как мало-мальская станция — бежит выпить... Один раз решил я его удержать — он же, если напьется, работы с него никакой! Ну, и спрятал вечером его ботинки. Так вся хреновина в чем: утром он на станции в рюмочную босиком побежал. В носках!

Или — из той серии желудочно-туалетных историй, безумно смешных, когда их рассказывают в мужской палате, да еще со вкусом, но которые как-то неловко пересказывать на

бумаге. Эта, что мне вспоминается, как бы венчала серию самым неожиданным образом:

— Был у меня один малый — мы с ним в Москве-реке плавали. Вот плыву я однажды, брассом плыву, там же голову погружаешь; поднимаю голову: мать честная! Прямо мне в рот кусок говна плывет!..

И серьезность, эпичность его интонации подтверждает: не выдумал, вправду это было, кто ж такое про себя придумает!

— Был у меня один малый, а у него квартирка: ма-аленькая, но там такой стенной шка-аф был! Я таких больше не видел: как комната, ей-богу! Наверху — полки, внизу куча старых пальто настелена. Ну... Он туда баб затаскивал. Если баба того, сразу не даст, он ее чуть придавит — и порядок! Вот, один раз дал он мне ключ, заволок я туда девочку, так мы прекрасно устроились на этих пальто, что ты! Входим в пике, и тут — у-ух! На меня! По кобчику!.. Я аж взвыл. С верхней полки ведро, понимаешь, с кислой капустой! Хорошо еще — по касательной проехалось, а то бы хребет переломило... Но вся хреновина в чем: я же весь в капусте...

Но однажды, незадолго уже до ухода моего из больницы, он вдруг предстал нам по-иному. Было это перед обедом; вся палата, взбудораженная смертью молоденького паренька из соседней палаты — смерть приключилась ночью, а рано утром, в коридоре, многие из нас видели, как его увозили — вся палата с утра бурно переговаривалась, нелестно обсуждая медицинский персонал. В палате было двое оперированных, трое — ожидали операции, еще двоих привезли недавно с такими цифрами давления, что аппарат зашкаливало. Смерть касалась почти всех впрямую. Фотограф молча лежал на кровати, явно думая о чем-то своем. Вдруг он чуть приподнялся — и неожиданно для всех громким и по-особому проникновенным голосом сказал:

— С-саша!..

Саша был его сосед с другой стороны, молодой, красивый, здоровенный с виду парень с безнадежным нефритом. Фотограф часто адресовался якобы к нему, начиная свои байки; но теперь он был явно слишком взволнован собственной мыслью. Даже заикался много заметнее:

— С-саша, ты понимаешь, С-саша, в чем вся хреновина, в чем весь ужас нашей жизни! С-саша, вот я дожил до с-сорока — и понял: в-выходишь на улицу — и ты никому н-не нужен! Н-никому, понимаешь, С-саша?.. Ни на работе, ни в магазине, ни в транспорте, ни в кино, н-нигде-е!.. Н-нигде, С-саша, понимаешь, С-саша? Там у них — ты тоже никому н-не нужен, но там хоть деньги твои нужны... А кому нужны н-наши деньги?.. Тьфу...

Он замолчал, и вся палата тоже.

## *Круглая печать*

Хабаровский литератор, в тридцатые-сороковые лет восемь проведенный в лагерях, рассказывал о сибирском пареньке, что одно время делил с ним баланду. Паренек, совсем молодой, загремел лет, кажется, на пять за дискредитацию советской власти. Дискредитировал он ее так: раз под вечер забежала к нему в сельсовет деваха-соседка, с которой он хороводился; в припадке буйного молодого веселья — от того, что рабочий день кончился, или от того, что предстоял прекрасный вечер с этой самой девахой — паренек, прежде чем запереть круглую сельсоветовскую печать в стол, задрал девахе платье и шлепнул ей на каждую ягодицу по отпечатку. Как о том стало известно — показала девица свою заверенную задницу еще кому или просто проболталась от избытка чувств — неведомо. Но известно — стало, и бедняга-парень получил свой срок.

Я вспомнил этот рассказ, когда мне поведали историю, случившуюся лет на тридцать позже.

Был в Узбекистане некий секретарь райкома, узбек, из молодых и успешливых. Имел жену, троих детей; имел и любовницу — красивую татарку, не то незамужнюю, не то разведенную. Жила любовница в другом городе, даже в районе другом. Это способствовало безопасности; навещался он к любовнице во время своих частых командировок. Купил ей кооперативную квартиру, импортную мебель. Возможно, и впрямь к ней привязался. А время шло, и дама сердца реши-

да социально определиться: или, дескать, всему конец, или — разводись и женись на мне.

Бросить жену с тремя детьми — оно, конечно, непросто; а главное, скандал, конец карьере! Но бросить красивую любовницу — опять же опустошение жизни. И секретарь тянул, раз за разом отделяясь обещаниями, что, мол, да, конечно, только подожди, момент неподходящий: вот конференция пройдет... вот уборочная кончится... вот сынишка в школу поступит... Дама сердца довольно долго кормилась этими обещаниями, пока, наконец, не предъявила ультиматум: если в следующий раз приедешь с тем же — больше не появляйся; и вообще — берегись, ты еще меня не знаешь. Впрочем, правду сказать, он и такие угрозы от нее уже слышал, а потому не очень насторожился. В очередную командировку приехал с очередным обещанием. Она, на удивление, промолчала. Поужинали, легли. Едва любовник заснул, она встала и полезла к нему в портфель.

Секретарь имел слабость: боялся оставить без призора райкомовскую круглую печать, хотя бы и в сейфе, и всюду возил ее с собой. Дама сердца об этом знала. Достала печать, расстелила собственные трусы — и все их покрыла круглыми отпечатками. А на завтра, когда любовник, ни о чем не подозревая, уехал, отправилась со своим вещественным доказательством в обком.

Что после этого случилось с нашим героем, представить нетрудно: карьера его, если не навсегда, то надолго прервалась. И все же в лагерь-то он не угодил!

Воистину: времена меняются.

По всему видно.

## Старухи

Родом обе они были из саратовской деревни и, хотя по сорок лет прожили в городе, в домработницах, оставались, по сути, теми же деревенскими бабами из глухого села, едва разбуженного революцией. Городская культура скользнула по ним, не оставив ни малейшего следа, ненужная им и непо-

питная, а того, что происходило эти сорок лет в деревне, они не видели. Уехали оттуда девчонками, на год-другой, на заработки — да и застряли в чужих кухнях. Ни семьи своей не обрели, ни судьбы, и единственное, чему научили их годы — готовить городские блюда.



— Даш, чего варишь сегодня?

— Да перец шифрованный. Ен больно уж у нас любить...

«Ен» — это хозяин дома.

Так они и говорили — «ермаг» (универмаг), «протувал» (тротуар), «фулиганы», «беркулез»...

Когда полетел Гагарин, и в доме и во дворе все напряженно слушали радио — они отнеслись к этому безо всякого интереса. Наконец, прозвучала желанная весть.

— Дарья Андреевна! Слушайте, слушайте! Сел! Из космоса вернулся!

Старуха, едва оторвавшись от плиты, покачала головой, пожевала губами и сказала, наконец, со снисходительным сожалением:

— Не приняли его, значить...

В одном только им повезло — что прожили жизнь близко друг от друга, два осколка давности, два квадратных камешка среди притершейся друг к другу, обкатанной гальки чужого существования. По вечерам, кончив варку и уборку, они собирались вдвоем то на одной кухне, то на другой, поближе к теплой плите, вязали из грубой шерсти нескончаемые носки и варежки, вполголоса делились дворовыми и квартирными сплетнями, — или вспоминали полувековой давности деревенские радости и обиды. Впрочем, и нынешние деревенские новости до них изредка добирались — в письмах от бог весть когда виденных в последний раз родственников. Когда приходило очередное письмо, они читали его вслух, по слогам, и казалось — оно так и написано, не словами, а слогами. «Срод-ни-це на-шей... Дарь-е Андрев-ны... из Ло-ху... от племянника Петра Василича со всем семейством... а еще тятенька да маменька кланяются... и желам тебе всяко хорошего в твоей жизни... А маменька пока еще жива болеит всю зиму сердцем... А Тося учитца пока еще хорошо ходит в девятый класс... А мы с Петей живем пока хорошо... всю зиму он на ремонте а весной на тракторе... и досвидание... и ждем твоего ответа...»

Порой они вместе плачут, вспоминая сгинувшую невесть куда молодость, какую-то единственную, полустершуюся и все же болезненно сладкую до сих пор любовную историю — жизнь, которая отсюда представляется им такой прекрасной, какой никогда не была. А иной раз просыпается в них и другое сожаление, едва осознанное — не только о том, что прошла жизнь, а и о том, как прошла: пусто, никчемно, в чужих кухнях, около чужих детей.

Они и днем иногда заглядывают друг к другу:

— Что, Гаша, все готовишь? Опять яда? Утром встают — ядят, вечером ложатся — ядят, разве это колхозники упасутся на нас?

— И то... всю жисть проедаем...

И, снова оставшись одна, старая Гаша на минуту останавливает ручку мясорубки, которую крутила, смотрит куда-то в

пространство невидящими глазами и говорит сама себе вслух:

— Двистительно, сколько человек жрет, а? И к чему это, эта мельница бездонна?

## *Семейство*

Семейство — сугубо обеспеченное и по-маниловски церемонное; еще жива прабабушка, бывшая тонная дама, ныне изящная старушенция лет девяноста от роду; и в полном цвету еще бабушка с дедушкой, собирающиеся на пенсию доценты; и, конечно, папа с мамой, преуспевающие адвокаты, породистые, похожие друг на друга. У папы, правда, это второй брак; первый был бездетным, пришлось его расторгнуть. Зато второй принес долгожданный результат. Над результатом все семейство трясется уже семь лет; сегодня, первого сентября, он пошел в школу, и школа, слава богу, находится в соседнем доме, и уже первый час дня, и все выстроились в прихожей, как на семейном снимке, где недостает еще разве самого фотографа; и напряженно глядят на входную дверь: вот-вот она раскроется...

И дверь в самом деле распахивается; нежное, обожаемое дитя, все растрепанное, как после драки, прижимая портфельчик, встает в дверном проеме, оглядывает всех свысока и, постукивая одной ногой о порожек, произносит:

— А вы знаете, как по-настоящему пиписка называется?..

## *Горские евреи*

Горских евреев я увидел впервые — в Шереметьеве.

Плотная толпа провожала в Израиль нескольких сорочичей.

Они казались неотличимы друг от друга: невысокие, худощавые, в огромных плоских черных кепках, похожих не вер-

толетные площадки, из-под которых торчали мощные горбатые носы. Таможенник, молодой парень брюзгливого вида, муржил улетавших с бесстыдной дотошностью; видно было — процедура доставляет ему садистское удовольствие. Каждую минуту он изобретал очередной повод придаться, а они терпели, боясь, что так и не улетят, и соглашаясь оставить то, другое, третье, десятое... В некий момент один не выдержал; над тихим залом вознесся его горестный гортанный выкрик: «Па-чиму? Па-чи-му-у-у?!..» Толпа провожающих до того наблюдала молча; тут она вздрогнула. И откуда-то из ее середины вырвался некто, легкий, тонкий, перелетел через загородку, размахнулся, ударил — и таможенник рухнул за стойку. Ударивший так же легко перелетел обратно, словно орел со скалы на скалу, и растворился в толпе.

Таможенник с трудом поднялся, с окровавленным носом; диким взглядом обвел все, пытаясь взглянуть в неразличимые лица — и нажал кнопку. Появилось двое милиционеров. Они мигом оценили ситуацию.

— Кто ударил? — грозно спросил улетавших старший.

— Он ударил! — отвечали они, указывая на таможенника.

Таможенник яростно молчал.

— Как это он? А его — кто?

— Ни знаим... уб-жал!

Старший обратился к толпе провожавших:

— Кто ударил?

— Ни знаим... он ударил! — отвечали те, тоже указывая на таможенника.

— Ладно, а его-то кто бил?

— Ни знаим... нету... уб-жал!

Повторив этот круг несколько раз, старший махнул рукой и обратился к другой группе, по виду московских евреев — стоявших поодаль, должно быть, в ожидании другого самолета.

— Слушайте! — сказал он. — Ладно — они... ну вы же нормальные люди. Вы же здесь стояли! Все видели! Скажите хоть вы, кто ударил первый?

Москвичи не поддались на милицейскую лесть; а может, и они уже, в предотъездной невесомости, отрешились от генетического страха перед советской милицией.

— Он первый ударил! — сказали они, указывая на таможенника.

Старший махнул рукой совсем уж безнадежно. Появился на смену другой таможенник. Милиционеры, бережно подерживая раненого героя тайной войны, увели его в неразгаданные аэропортовские глубины. Досмотр горцев быстро двинулся вперед...

## Якутский вариант

Московский прозаик средних лет, из диссидентствующих, проводя месяц в подмосковном доме творчества, познакомился с молодым якутским литератором. Якут был довольно симпатичный, небесталанный, но чудовищно необразованный. Что называется — "tabula rasa". Чем-то он москвичу приглянулся, и стал тот якута просвещать: и насчет литературы, и — больше — насчет политики. Якут все схватывал на удивленье. И привязался к москвичу, как к отцу родному. У москвича были планы (и семейные возможности) — «отвалить», как говорится. Однажды на прогулке, скорее в шутку, чем всерьез, семечко такой идеи заронил он в подопечного якута. Что вы думаете? Не прошло и полугода — якут снова приезжает в Москву, приходит в гости к прозаику и говорит:

— Однако, уезжать хочу!

Москвич сперва даже растерялся. Вот тебе на! Куда уезжать? К кому? По какому праву?.. Якут он все-таки и есть якут. С евреем его ни при какой погоде не спутаешь. Но — делать нечего. Стали думать. И придумали. Вот такую версию придумали: якобы лет тридцать назад в родное якутское стойбище приехал не то геолог, не то гляциолог, но главное — еврей. И мать нашего якута с ним согрешила. В результате чего и появился на свет якутский инженер человеческих душ. Отец — геолог или гляциолог — про сына узнал, присылал подарки; потом в Израиль уехал. И вот теперь шлет родному сыну вызов на историческую родину.

Чудная история! Главное — правдоподобная. Стоит на якута посмотреть.



Успокоился якут, повеселел. Версию, куда следует, передали. А якут поехал домой, сказав на прощанье:

— Однако, ждать буду!

И представьте, пришел вызов!.. Все, как полагается, чин по чину. Москвич, грешным делом, все еще думал — не пропустит ОВИР. Они ж там все-таки не такие уж дураки сидят!.. Конечно, там тоже видели: действительно, сидит якут-якутом. Но, с другой стороны, может, это якутская кровь такая сильная, забила еврейскую? Все ж таки нация молодая. А главное, чего там на личность глядеть, если бумажки имеются. И — разрешили!..

Купили якуту билет, собрали два чемодана, три дня представления давали. В последний вечер устроили проводы. Пришло человек семь, сочувствующих. Сидят, едят (еда-то еще была), пьют (и пить еще было чего!). И якут тоже пьет за милую душу. Рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой. И все мрачнеет, все мрачнеет. Потом как вскочит, да как начнет себя кулаками по голове молотить, и — со слезами:

— Собака я!! Собака я последняя-аа!.. Мать опозорил! Матери кости в могиле стучат! Собака я подлая! Отца родного продал! Нет мне прощенья! Нету-у-у!..

И — завыл.

Еле его утихомирили. Сперва думали — разнесет он вдребезги маленькую квартирку прозаика.

Нет — лег, уснул. Проснулся — ни слова. И в аэропорту — никому ни слова. Документы молча таможеннику отдал. Молча, кивком, попрощался со всеми.

И — улетел.

## *Перезаменная*

— Был я, знаете, курсантом летного училища. В мае мы последний экзамен сдавали, а я накануне дежурным по общежитию был. Ну, полистал кое-что, знать-то, конечно, ничего не знаю, пошел сдавать — еще и билет трудный попался. Лепечу что-то, а уж сам понимаю: двойка! Очень это не-

кстати было, но вижу — не избежать: такое кислое лицо у экзаменатора. «Давайте, говорит, зачетку...» Я стал про дежурство лопотать, про то, что ни разу двоек не получал, чувствую — слушает, вроде сжалился. «Ладно, — говорит, — жалко мне вашу зачетку портить. Хотите — перезачетную на осень?» Согласен, говорю! Да... И было это — в сорок первом.

## *Недосып*

— Кого чем, может, война и больше мучила, а меня — недосыпом. Всю жизнь не могу отоспаться, и вообще: всего меня война съела. Живу, работаю вроде, чем-то вроде интересуюсь — а на деле меня нету. Весь я там остался, в той мертвой бессоннице. Господи Боже мой, как же ж я хотел спать! А переходы те по ночам... Я спать на ходу научился, сй-богу! Я ж маленький ростом, в строю всегда левофланговым был. Выходим, бывало, я говорю: а ну, Косягин, пусти меня в середину. Опять, говорит, кемарить на ходу будешь? Да нет! говорю. Двинемся — я уставлюсь в две пуговицы блестящие у того, что впереди: пока, думаю, я их вижу — не заснул, значит. И вижу, понимаете, вижу, а вдруг — как качнет меня, глядь — я уж на обочине, а строй вон где! Заснул. Шел, а заснул. И пуговицы те мне уж снились...

## *Спор*

- Да Бога же нету!
- Е-есть...
- Да не-ету!
- Ну, ладно... нету. И что — тебе от этого хорошо?

## *В метро*

Зима. В метро, у пропускных электронных столбиков, топчется пьяный; дежурная внутрь его не пускает:

- Ступай, ступай, обратно!

- А ч-чо я делаю?
- Ничего ты не делаешь. Ступай обратно, говорю, а то милиционера позову!
- Ну, ч-чо я делаю?... Дай п-погреюсь...
- Здесь тебе не баня!
- При чем... баня?... Слушай, т-тетя.. — говорит он с внезапно вспыхнувшим интересом. — А чо, у вас там... тепло?
- Тепло!
- И светло?
- Светло, светло...
- И п-поезда ходят? — он показывает обеими руками, как они ходят взад-вперед.
- Ясно, ходят... Ты, что, в метро никогда не был?
- Не-а...
- Ты, что, не москвич?
- П-почему... москвич...
- Недавно, что ль, приехал?..
- Почч...почему недавно... я здесь родился!
- И что ж ты в метро никогда не был?
- Д... не пускают...

## *В зоопарке*

В кои-то веки пошел я, наконец, с сынишкой в зоопарк. У входной арки встали мы в длиннющую, торопливо змеящуюся очередь. Почти следом подошла женщина с девочкой:

- Вы крайние?
- Да-а... мы последние...
- А не знайти — извинити — перерыв тут у них, в зоопарку, есть?
- Я думаю — нет! — сказал я, сдержав улыбку, и оглянулся: женщина оказалась и с виду простоватая и какая-то суетливо озабоченная. Девочка — напротив, хмурая, заторможенная. Годков ей было — как моему сыну: лет восемь. Мать и дочь были... ну не то чтоб совсем уж бедно одеты, но как-то не по сезону, что ли. Я подумал: так одеваются люди в доро-

гу, когда не знают, каково будет в пути. И точно: услышав, что перерыва не будет, женщина сперва вроде успокоилась, но тут же, уловив мой оценивающий взгляд, заторопилась объяснять:

— Мы ж сдалека, с самого края области, на границе с Тулою... Почти два часа электричкой! А еще в кино хотим... вон туда... напротив... Так боюсь — время нехватит. Дочка-то в зоопарку сроду не была — кады еще денек выпадет!..

Я понимающе покачал головой, и мы устремились за продвинувшейся очередью.

В зоопарке сынишка первым делом потянулся к птицам. Потом мы оказались у оленей, у верблюда, у грызунов... Соседки по очереди то и дело попадались навстречу. Мать, шурясь, шевеля губами, проглядывала таблички, что-то дочке объясняла, но где бы это ни было — около красавца павлина, у клетки золотого агути, или у важных кенгуру — лицо девочки оставалось таким же неподвижным и скучным. Наконец, мы и они подошли к хищникам. Могучий тигр в модно расцвеченной шкуре, положив голову на лапы, думал свою тяжелую думу; леопард косился на публику, готовясь к чему-то коварному; седогривый лев, порывкая, трепал — раздирал кусок туши...

И здесь, перед львом, девочка неожиданно оживилась: глаза зажглись, на лице изобразился жадный интерес — она увидела, наконец, нечто диковинное!..

— Мама! — закричала она. — Мама-а! Смотри: мя-со!..

## *Одесское*

Я попал в Одессу поздно — и для себя и для нее. И когда моя жизнь мне уже только снилась; и когда от Одессы — той, знаменитой — тоже оставались скорее воспоминания. Оскудевшая, ограбленная, обшарпанная, замусоренная, покинутая своими остряками и героями — она являла собою, казалось, лишь непрезентабельное подобие того вольного — духом! — города, каким некогда была. Да и побывал я в ней

Всего единожды, провел лишь несколько дней. Вроде бы и не мне втягиваться в эту тему. Но именно потому, что я оказался там отнюдь не с шорами юности на глазах, а с трезвым взглядом пожилого человека; и потому, что это, однако, был именно первый взгляд...

Ох, я слишком много ждал — и, конечно, первым чувством было глубочайшее разочарование. «И это — Ришельевская? — спрашивал я в тоске. — И это — Дерibasовская?..» «И это — одесситы?» — хотелось мне крикнуть, глядя на тусклую, безликую и какую-то даже не слишком крикливую толпу, заполнявшую центральные улицы, магазины, троллейбусы, трамваи. Разумеется, друзья водили меня по всем прославленным местам. Показывали Оперу: «Вы знаете, кто ее строил? ... Тот, кто строил Венскую оперу! Лучшую в мире! Так Венскую разрушили во время войны — и что? Теперь лучшая в мире — наша!» Показывали знаменитую Лестницу: «Видите — здесь-таки и катилась та самая коляска Эйзенштейна!» И, конечно, статую Дюка над Лестницей: «Нет, вы сбоку посмотрите, сбоку... Ну?..» Свернутый в трубочку чертеж, который Дюк держал в опущенной руке, сбоку и вправду торчал, как тот самый орган и символ мужской власти, который ценен именно в таком нацеленном состоянии. Спору нет, Опера — и внутри, и снаружи — была чудно красива; и Лестница была замечательно памятная; и Дюк очень даже ничего себе... Но где же была она — та красочная, ярчайшая, узнаваемая с первого слова Одесса?.. Где был тот неповторимый одесский Привоз — как раз этой весной закрытый на долговременный ремонт? Где была прелесть на все лады расписанных мастерами пера одесских улиц и улочек, которые истоптаны столькими прославленными ступнями?.

На второй день мы поехали на Шестнадцатую станцию Большого Фонтана — там находился Дом творчества писателей, где, на бывшей даче Федорова, несколько лет назад прожила месяц моя жена с сыном. Увы, дачи Федорова тоже уже не было — ее стубил оползень. И единственное, что нас чуть утешило — было объявление на закрытом молочном ларьке у трамвайной остановки:

МОЛОКА НЕТ И НЕИЗВЕСТНО.

Но этого для целой Одессы, согласитесь, было маловато.

Назавтра мы опять пошли бродить. И снова очутились на Приморском бульваре. Теперь он показался обширнее: то ли деревья — май все же! — успели за ночь основательнее приодеться зеленью, то ли еще что — не знаю; но бульвар явно тянулся дольше — от бронзового Пушкина, выглядевшего на своем постаменте этаким классическим одесским плутом, до воронцовского дома, где тот же — или другой? — Пушкин и страдал, и любил, а возможно, и сердце там похоронил. Дом стоял на отшибе и от бульвара, и от улицы, вроде как на мысу над обрывом; вокруг него была пустота, которая ни в каком случае не могла сопровождать настоящий дворец, пусть и провинциальный. Разве что Дворец пионеров — да им он теперь и стал, и в былую его аристократичность, в его вечернюю наполненность огнями, золотом кудрей и эполет — как-то не верилось. Мы вернулись на бульвар — посидеть, отдохнуть. На соседней скамье расположился тощий кадыкастый мужчина лет шестидесяти и того же возраста женщина, должно быть, его жена — но неуловимо на него похожая. Они долизывали свое эскимо. Мужчина завершил первым, скомкал обертку и стал засовывать меж планками скамейки. В этот самый миг напротив него оказалась коляска с младенцем; катил коляску дородный благообразный гражданин, тоже лет шестидесяти. При виде запикиваемой обертки он резко остановил свой экипаж и сказал громко:

— Шо вы делаете?!.. Человек же сядет — и сделает себе пятно!

— Ладно, ладно, катись с коляской, не твое дело! — сказал кадыкастый.

— Шо значит — не мое дело?.. Человек сядет — и сделает себе пятно! — он мгновение помедлил и добавил с надрывом: — Окна надо на зиму затыкать, а не бумажку ув скамейку!..

— Катись, говорю, не твое собачье дело! — рявкнул кадыкастый.

— О, видели?.. — коляска покатила дальше, но тут же остановилась у следующей скамьи, где сидела группа молодежи. — Видели? — повторил благообразный, обращаясь к ним. — Высосал эскимо, и сует бумажку ув скамейку!.. А че-

ловек сядет — и сделает себе пятно!.. Я ему сказал: окна надо на зиму затыкать, а не бумажку ув скамейку!..

И, довольный, покатил коляску дальше...

Ах, ты, мил человек! Жива, значит, Одесса, жив курилка!

И, как это часто бывает, если жадно ждешь, и потом непременно разочаруешься, и перестаешь ожидать вовсе, и тут ожидаемое начинает валиться на тебя, как из рога изобилия — так и здесь: неувиденная и неслышанная поначалу, наглухо замаскированная своей торопливой озабоченностью, Одесса стала вдруг обнаруживать себя на каждом шагу. Полчаса спустя мы сехали в трамвае, и мужчина впереди нас, собиравшийся выходить, спросил загораживавшую выход женщину:

— Дама, вы выходите?

Женщина была безмерной, благодатной, как южно-русские степи, — не обойдешь. Она повернула голову к левому плечу:

— Выходят — замуж!

— Ну, так вы сходите?!

Она — уже через правое плечо:

— Сходят — с ума!..

— Ну, так шо вы тут делаете?

Она — гордо, уже не оборачиваясь:

— Я — вылажу...

— А-а... ну, так с днем рождения!

На следующий день жена, торопясь куда-то, остановила такси, села. Два квартала спустя им проголосовала еще женщина — по-южному пышная, яркая, громкоголосая. Она хозяйски втиснулась в машину, сказала: «Поехали!» — и уже минуты через две ткнула водителя пальцем в спину.

— Шо такое? — спросил он.

— Счас повернете налево, и я через квартал вылезу!

— Шо значит — налево? — сказал водитель. — А дама села раньше, так ей надо прямо! Дама торопится...

— Вы повернете налево, я там вылезу, а вы себе будете торопиться дальше!

Водитель вдруг рассвирепел:

— Шо значит вылезу, шо значит вылезу?! Это шо — дырка? Это — машина!..

Днем, когда мы шли с женой вместе, на каком-то углу ее окликнула женщина, стоявшая с корзинкой петрушки у ног:

— Дама!.. Дама, возьмите мою зелень, с нее вы уже не будете вызывать скорую помощь!

На четвертый, кажется, день мы поехали с утра в Аркадию — там теперь, как нам сказали, устроены были новые удобные пляжи. Трамвай долго тащился до парка; пройдя парк, мы спустились на пляж — пустынный и хмурый. Море выглядело неприютным, холодным. Начало мая! Мы присели на лежак. Следом явился какой-то парень, улегся, не раздеваясь, на лежак по соседству. Потом, еще минут десять спустя, неприметно как, возникла рядом женщина с кондукторской сумкой через плечо:

— Молодой человек, надо платить!.. — пляж, оказывается, был платный.

Он встрепенулся:

— За шо платить? — Он показал рукой, что не раздевался. — Солнца ж нет!

Она посмотрела презрительно:

— Я с вас беру за солнце?.. Я с вас беру за лежа-ак!..

Нас она обошла — может, потому, что мы не лежали, а сидели. Еще полчаса было так же хмуро и пустынно, и вдруг ярко брызнуло и заблестало, разлилось солнце, сразу стало теплее, вода в море потемнела, перестала казаться такой холодной; и точно специально дождавшись этого мгновенья, хлынула на пляж пестрая, горластая толпа: экскурсия с какого-то теплохода. Они заполнили пляжное пространство, перекликались, хохотали, ежились, потом стали раздеваться и полезли в воду, отчаянно визжа от холода. Это были в основном женщины, а один из немногих мужчин расчехлил удочку, разделся, дошагал в воде до большого камня метрах в четырех от берега, влез и принялся удить. Визг, крики, смех, многоцветье купальников... И тут появился человек с мегафоном:

«Россия!» — громово закричал он на всю округу. Так, нарерное, назывался теплоход. — Кончайте купаться, вас ждут

фотографироваться! — купающиеся не отреагировали. — Женщины! — закричал он снова. — Женщины, освободите море! Освободите море, женщины! Рыбак на камне, оставьте в покое камень!..

... И вот пришел наш черед уезжать.

Ах, Одесса! Все, что можно было о ней написать, уже давно прочитано; и все, что можно было рассказать о ней, давно услышано, и не раз: все байки, все анекдоты, все словечки. И все-таки она являла себя снова, она оставалась собой. И, оскудевшая, ограбленная, обшарпанная, покинутая своими остряками и героями, сама неустанно разъезжающаяся во все концы света — нам, тоже уезжающим и, увы, навсегда — подарила на прощанье еще одну свою блестку: объявление в трамвае, что вез нас на вокзал:

ЧТОБ ВЫ ТАК ДОЕХАЛИ, КАК ВЫ ЗАПЛАТИЛИ.

### *Первый прозаик*

Я вернулся в Дом творчества утром, после трех суток раскаленного июльского города. Загородный сад за могучими чинарами, рассеченный холодным лезвием арыка, снова показался мне мусульманским раем. Низкий дом с белыми колонками портала выглядел необитаемым. Впрочем, подойдя поближе, я обнаружил человеческую фигуру. Незнакомый старик, в старомодном чапане и тюбетейке, неподвижно сидел на стуле перед домом, подставив солнцу голое, круглое, в старческих пятнах лицо. Глаза были прикрыты, лицо казалось слепым. Я обошел дом. За ним, под деревьями, находилась беседка с биллиардом. Вокруг стола с кием в руке расхаживал директор местного Литфонда, а его водитель, услужливо дождавшись очереди, торопливо бил по шару и радостно промазывал.

Директор Литфонда, Мумтаз-ака, был лицо историческое. По числу должностей, которые занимал в продолжение жизни, он побил все рекорды. Директор киностудии, редактор сатирического журнала, глава Управления искусств, начальник Кинопроката, заведующий художественным комбинатом... да нет, немислимо перечислить. Любое дело он тут же проваливал, что ничуть не мешало ему сразу по снятии с поста занять новую номенклатурную должность, а на иные — вернуться и во второй раз. При всем том человек он был приветливый, скорей даже доброжелательный.

— А-а, вернулся! — сказал он, завидев меня. — Салом! Ну, как город? — не дождавшись ответа, он прицелился и ударил по шару. Шар осторожно, нехотя закатился в лузу.

— Мумтаз-ака! — спросил я. — А что это за старик там, перед домом, на солнышке греется?

— О-о! — сказал Мумтаз. — Эта Мухамеджанов! Восемисят шесть лет. Наш перви узбекски прозаик! Да... мой учитл...

— Как это — первый прозаик? — сказал я с сомнением. — Первый же Кадыри!

— Э-э, он полгод раньши свой воспоминаний выпустил. Про детство, да. Перви наш прозаик! Двадцать шестой год редактор «Муштум» был, стирический журнал. Я у него работал. Да. Мой учитл...

— Но если он в самом деле первый прозаик, — сказал я настырно, — как же это про него никто не знает? Ник-то!

— А-а... — сказал Мумтаз и примирительно сощурился. — Он немножко бездарни...

### *По объявлению*

Старой профессорше, которая осталась одна в большой квартире, нужна была домработница. Друзья дали объявление: «Старому профессору требуется помощь. Звонить по телефону...» Звонки начались чуть ли не в тот же день вечером. Звонили молодые женщины, преимущественно студентки.

Одна сказала: «Понимаете, я как раз кончаю институт... вы не думайте, я очень люблю свою профессию, но готова пожертвовать... ради старого человека... Ведь ему много лет?» «Не ему, а ей!» «Как — ей?.. Вы же написали — профессору.» «Да, но профессор — женщина!» «Так что же вы людям голову морочите!» — с возмущением сказала трубка.

## Псих

Явился однажды утром к ученому секретарю института энергетика посетитель — чистенький, выглаженный, подчеркнута весь аккуратненький, с таким видом завязанного за нуды, что ученый секретарь его сперва даже и не раскусил. Лишь когда он начал говорить, хозяин кабинета взглянул внимательней — и понял: глаза... глаза выдавали. Тоже вроде спокойные, даже как бы подернутые туманом, но в глубине — притаившаяся сумасшедшинка...

Ученый секретарь, спокойный, умный еврей, и виду, однако, не подал.

— У вас в институте, — говорил между тем посетитель, — конструируется сейчас, я точно знаю, машина...

Ученый секретарь едва не вздрогнул — в институте действительно только что сконструировали сугубо секретный прибор.

— ... и машина эта настраивается на мой мозг!

— На ваш... мозг?..

— Да, да, на мой мозг. И настойчиво понуждает меня к самоубийству!

— Но как же это происходит?

— Обыкновенно. С утра начинается зуд во всем теле... — и посетитель начал дотошно перечислять симптомы.

Секретарь терпеливо слушал.

— И почему вы думаете, — спросил он, наконец, улучив паузу, — что все дело в машине?

— Господи! — сказал посетитель. — Да проще простого! — Во-первых, ваш институт находится от моего дома точно на

востоке. Улавливаете? Во-вторых, воздействие начинается ровно в девять и кончается в шесть. По воскресеньям и субботам — отпускает, но если черная суббота — возрастает вдвойне!.. Я вас предупреждаю, — сказал он строго, покачивая головой, — если вы это не прекратите, я приму свои меры. И тогда — берегитесь!

— Но почему это действует именно на вас? — спросил ученый секретарь.

— Непонятно?.. Да я же сегодня единственный человек, который может помешать прорубить планету насквозь!

— Ага! — сказал ученый секретарь. — Вот теперь действительно понятно.

— Рад, что вы разумный человек.

— Да, да... Вы, пожалуйста, успокойтесь, мы разберемся и постараемся все это прекратить.

При этих словах посетитель вроде бы действительно успокоился. Он вежливо попрощался и ушел.

Как всякий нормальный человек при соприкосновении с безумцем, ученый секретарь с полчаса чувствовал себя не в своей тарелке. В перерыв он спустился в буфет вместе с помощником директора и тут, за едой, вспомнил утреннего посетителя. «Можешь себе представить? Сегодня меня классический псих посетил...» И он пересказал утреннюю беседу.

Помощник директора слушал очень напряженно.

— И ты... его... отпустил?! — сказал он, выслушав.

— А что я должен был, по-твоему, сделать?

— Да он же шпион! Ежу понятно!

— Какой там шпион! — сказал ученый секретарь. — Ты что? За чем ему шпионить? Наши секреты у нас даже с приплатой не возьмут!..

— Ты бдительность потерял! Не понимаешь?.. Шпиона упустил!..

— Ну, ладно, успокойся, — примирительно сказал ученый секретарь. — Шпион, или псих — я уверен: он еще раз придет...

— Смотри! Чуть что — вызовешь меня! Э-эх...

Ровно через неделю псих действительно появился снова.

— Одну минуточку! — сказал ученый секретарь. — Я только вызову специалиста... — и он позвонил помощнику директора. Тот явился немедленно.

— Значит, так, — сказал псих и полез во внутренний карман пиджака. Оба слушателя напряглись. Но псих вытащил из кармана всего лишь аккуратненькую, хотя и довольно замусоленную тетрадь. — Значит, так, — повторил он. — За последнее время я окончательно установил: мир стоит на черном цвете. Именно на черном! Обратите внимание: мужчины носят черные брюки, но белые рубашки. Это общий закон: белое — наверху, черное — внизу. Наша первая в мире социалистическая страна — Советский Союз — что у нее внизу? Черное море! А наверху?.. Белое море... Ясно? Но главное даже не в этом... В вашем институте энергетики...

— Вот! — закричал, вскакивая помощник директора. — Вот оно! Я эти штучки знаю. Все эти подходы. Пси-хи... Это вынюхивание государственных тайн!.. Сейчас! Сейчас... — он схватил телефонную трубку и начал лихорадочно набирать номер.

Псих посмотрел на него с интересом.

— Простите, — сказал он, — если не секрет, вы куда звоните?

— Никакого секрета! — кричал помощник директора. — В КГБ звоню! В КГБ? Ясно?..

— Боже мой! — сказал псих. — Так вы их знаете?.. Очень вас прошу — позвоните, чтоб они меня приняли! Я уже у них в очереди две недели стою — не могу добиться присма...

Помощник директора несколько секунд ошалело на него смотрел, потом, с криком «Тьфу на вас всех!», бросил трубку и выскочил из кабинета.

Псих, качая головой, поглядел вслед, повернулся к ученому секретарю и сказал соболезнующе:

— Нервы у товарища — никуда...

## *Проданная теща*

«Наша редакция отличалась от всех прочих тем, что неожиданности, в ней приключавшиеся, были абсолютно непредвидимы».

Это фраза принадлежит не мне. Ее придумал Сеня Санников, заведовавший отделом фельетонов нашей редакции лет тридцать с лишним назад. Собственно, «заведующий отделом» — слишком громко сказано. В действительности он был всего лишь низкооплачиваемым литсотрудником и вел колонку сатиры и юмора по письмам трудящихся. То смешное или обличительное, что встречалось в письмах, публикации, увы, не подлежало: пригодное для публикации обычно оказывалось совсем не смешно. И Сеня, мучась, вживлял в эти унылые жалобы какую-нибудь непритязательную игру слов, вроде «это вина ДОЗа, но немалая доза вины...», или еще какие-то жалкие остроты, лишь бы придать всему видимость хотя бы стилистической остроты. Чересчур полный для своих двадцати восьми — по причине сидячего образа жизни — Сеня полон был и розовых литературных мечтаний. Приведенной фразой он собирался начать сатирико-авантюрный роман, вроде нового «Золотого теленка». Правду сказать, фраза и мне казалась для такого романа превосходным началом, хотя в отсутствии самого романа сильно проигрывала. Роман же, полагаю, так никогда и не был начат.

Главное, к нашей редакции Сенина фраза нимало не была приложима. По сути, всякая нормальная газета именно и живет за счет «ожиданных неожиданностей»: ее сотрудники — каждый со своим стереотипом поведения, которое легко предвидеть. Такими они мне сейчас и вспоминаются, хотя сам я уже четверть века в редакции нашей не бывал, да и сотрудников той поры наверняка там не осталось.

Первым, ровно в девять утра, в длинном пустынном коридоре появлялся вечный наш ответственный секретарь по прозвищу «Иван Капитаныч», вернейший подданный редактора. Сухощавый, в строгом костюмчике со всеми положенными складками, он шел к своему кабинету семенящей чиновничьей походочкой и деловито усаживался в кресло:

дверь кабинета оставалась открытой — дабы видеть парад всех приходящих.

Последним, всегда опаздывая почти на час, приходил заведующий отделом пропаганды. Этот был маленького роста, но с огромным покачивающимся животом. Торопливо прихрамывая, он приближался к открытой двери ответсекретаря, заглядывал в нее и говорил озабоченной скороговоркой:

— Иван Капитоныч, ты сегодняшнюю “Правду” чи-тал?..

— Нет, — скрипуче отвечал Иван Капитоныч.

— Па-читай! — он протягивал заготовленную газету и уже спокойно шествовал дальше.

В промежутке мимо роковой двери успевала продефилировать или прошмыгнуть вся остальная редакция, а Иван Капитоныч принимал смотр, на звук шагов отрывая взор от страницы и взглядывая по верх очков.

Разбредясь по комнатам, все, как правило, почти тут же торопились опять в коридор, в ожидании планерки: по одному, по два заглядывали в секретариат — узнать, как там их материалы, не вернулось ли что от редактора, что ставится в номер — и вообще, какова обстановка.

Царил в секретариате Вадим Гаврилович, старейший из сотрудников. Этакая остроносая сангвиническая мумия. К тому времени он работал в редакции уже лет тридцать пять. После революции проучился года два на медицинском, потом бросил медицину для журналистики, в двадцатые годы стал известен под распространенным тогда псевдонимом «Кин» («Король информации»), в тридцатые — писал лихие отчеты с процессов над «врагами народа»; процветал и позже; наконец, ушел в дежурные секретари. Но по-прежнему вел существование живчика, неизменно имел какой-нибудь романчик, любезничал со всеми встречными девицами, изловчаясь безнаказанно погладить по доступному месту; да и вообще был любезник, каждому готовый услужить. Особенно по части медицины. Человек компанейский, ни с кем отношений не прерывал, а все нынешние медицинские светила города были некогда его однокашниками. И он без конца устраивал кому-нибудь консультации у них, прием без очереди, места в больнице.

Впрочем, правду сказать, не был он лишен и склонности к некоторому... как бы помягче... озорству, что ли. По сути-то оно больше отдавало коварством. Те, кто это на себе испытал, усматривали потом в остроносом профиле нечто вынюхивающее и даже мифистофельское. Излюбленным его приемом было, при чтении сданного в секретариат материала, поставить сбоку, на полях, один-два малозаметных знака вопроса. Этого было достаточно, чтобы обречь материал на возврат: осторожнейший редактор его, по-видимому, уже даже и не читал.

В то утро в секретариате собралось человек пять. Последним вошел Гоша Дымов, заведующий отделом советского строительства. Человек способный и малость заносчивый, он считался в редакции журналистом номер один. Вошел он, как всегда, торопливо, вертя на пальце кольцо с ключами.

— Бабы-то мои, а? — сказал он своей подсакивающей скороговоркой, сопровождаемой нервным хохотком. — Вернулись из командировки — и такой, понимаешь, фактик привезли! Уписаться можно! Пальчики оближешь!..

— И что там такое? — хмуро спросил кто-то: многие у нас ревновали Гошу к его репутации.

— Как же, понимаешь!.. Поехали насчет феодально-байских пережитков, так?.. Пережитков, ясно, хватает, но фактик-то, фактик. Один мужик тещу за калым продал! А?.. Тещу, понимаешь! Продав! За калым!..

Один хмыкнул, двое слегка улыбнулись, один воздержался.

— Нет, мужики, вы, понимаешь, не поняли!.. Не оценили! Вы себя поставьте... Мало что от тещи... так еще за деньги! Да тут всякий, понимаешь... сам заплатить готов! — Гоша от души, восторженно захохотал. — Единственный же факт в истории, понимаешь... На Западе... на Западе бы мировую сенсацию сделали! «Нью-Йорк Таймс»! Понимаешь, вышла бы с шапкой на первой полосе: «Человек, продавший тещу!» — тут он вдруг горестно поскущел. — А у нас... ясно, что. И из текста, понимаешь ли, вычеркнут. Как пить дать...

— Может, и не вычеркнут, — как бы походя, голосом крайне занятого человека, сказал копавшийся в бумагах Вадим Гаврилович.



— Да-а!.. — Гоша прищурился. У них свои счета были. — Да ведь ты же, Вадик... ты же первый... — это прозвучало с язвительным нажимом, — первым свой вопросик на полях поставишь!..

Вадим Гаврилович мяча не принял.

— Что ты, Гоша, раньше пожара набат бьешь, — сказал он тем же рассеянным тоном.

— Посмотрим, понимаешь, посмотрим, — сказал Гоша.

И тут позвали на планерку.

Планерка проходила в редакторском кабинете. Маленький, седой редактор сидел за своим огромным письменным столом; вел планерку Иван Капитоныч, расположившись у торца стола и время от времени справляясь с редакторской миной. Дымов и сюда умудрился явиться последним. Чуть не за секунду до его появления Иван Капитоныч спросил строго:

— А Дымов где? — вопрос адресовался заведующему отделом пропаганды: они с Дымовым сидели в общей комнате.

— Па-нятия не имею! — поставленным голосом отозвался тот.

И в это мгновение случилось нечто экстраординарное.

Редактор, обычно не раскрывавший на планерке рта, вдруг изрек:

— Я не сторож брату моему Дымову! Хо...хо...хо...

Тут Дымов как раз и вошел. Оказавшись в центре внимания, от тоге хохотнул по-своему и сказал с места в карьер:

— Степан Семеныч! Тут такое, так сказать, дело... Бабы мои замечательный материал привезли из области... Острейший!

Но редактор уже снова захлопнул свой скафандр. Он лишь прикрыл глаза, а Иван Капитоныч подхватил:

— Сдавайте!.. Еще не сдали, понимаете, а уже разговоры... Дымов махнул рукой и сел.

«Бабы» отписывались за командировку два дня. За это время слух о проданной теще распространился по всему издательскому зданию с его несколькими редакциями, обрастая живописными подробностями и проектами широкой распродажи собственных тещ. Наконец, Дымов сдал статью в сек-

ретариат. Вадим Гаврилович прочел — «С удовольствием, Гоша!» — и материал отправился «наверх». За сим последовала неделя неизвестности, но в одно прекрасное утро Вадим Гаврилович пришел к Дымову со скорбной миной и со статьей в руках:

— Гоша, — сказал он, — извини, не хочется тебя огорчать...

— Вернул?! — сказал Дымов. — Ну, ясно, понимаешь, вернул!..

— Гоша, смотри, сам убедись — я тут ни при чем! Ты же знаешь, статья мне очень понравилась...

— Ясно, ясно, — сказал Дымов. — Все ясно. Я к нему сам иду, понимаешь... Сам иду!

За свою редакционную жизнь Гоша ходил объясняться к редактору уже несчетное число раз и отлично знал: это ровно ничем не кончается. Но в каждом следующем случае казалось: уж теперь-то... Уж теперь-то он всерьез полагал, что такие фактики попадают журналисту, может, раз в жизни. «У себя?» — спросил он у секретарши в приемной, постучал в дверь редакторского кабинета и, не дожидаясь отзыва, вошел. Редактор был один. Он поднял глаза, взял с огромного, как простыня, стола лист белой бумаги, сложил вдвое. Это было знакомо. Сейчас он сложит его вчетверо, потом еще раз — и начнет рвать на узкие полоски. И — молчать.

Но Дымов бросился в атаку:

— Степан Семеныч! Вы нам статью вернули — почему? Мы ведем борьбу с пережитками — или нет? Ведем! Калым... Сами знаете, человек полжизни на калым копит! Жизни не видит, а копит!.. А тут такой факт! Да за такой факт ручки надо целовать! Он же один верней сработает, чем десять подвальных статей... — он говорил минут пять, все больше распаляясь, а редактор между тем изготавливал свои бумажные полоски. Бумага у него кончалась. Сейчас остановится и будет просто молчать.

— Степан Семеныч! — с надрывом сказал Гоша. — Ну, любая же газета напечатала бы... Ну, почему вы вернули?..

У него аж ком в горле образовался. А тот молчит. Так ведь и не ответит...

Но редактор вдруг пошевелился, вытянул шею вперед и сказал:

— У нас тут не «Нью-Йорк Таймс»!..

С этим не поспоришь.

Гоша повернулся и, разбитый, побрел прочь из кабинета.

## *Был у нас молодой, отважный комиссар бронепоезда...*

Когда я впервые пришел в редакцию на работу, нравы там были суровые. Субординация сохранилась едва ли не со сталинских времен. В самой газете, естественно, я уже и до того печатался, но имел дело с литсотрудниками: перед приемом в штат пару минут беседовал со мной заместитель главного. Самого же редактора я и в глаза не видел — и еще месяца три после поступления понятия не имел, как он выглядит. Он сидел где-то там, за священной дверью своего кабинета, открывавшейся лишь посвященным. Как-то поздним вечером я заметил сухонького седого человека, выходящего из дверей приемной в коридор — и, скорее чутьем, понял: это и есть наш главный...

Я был не один такой. Незадолго до меня появился в газете москвич, только что закончивший престижнейший Институт международных отношений. Распределение на работу в провинциальную редакцию его, видимо, уязвило: он на всех поглядывал с подчеркнутым пренебрежением. Однажды, сбегаая с лестницы — редакция помещалась на втором этаже старого здания — встретил он того же, что и я, незнакомого седого человека. Тот приостановился на площадке и благожелательно спросил:

— Ну, молодой человек, как работается?

Несостоявшийся дипломат презрительно сощурил глаза:

— А вам, собственно, какое дело? — отрезал он, пробегая.

Впрочем, и для ветеранов наших редактор оставался личностью почти загадочной, хотя сам проработал здесь уже двадцать с лишним лет, и добрых пятнадцать из них — главным.

Самым заметным его свойством было немногословие. Это — мягко выражаясь: мнение свое он обычно передавал непробиваемым молчанием. Возвратит вам, без объяснений, статью, корреспонденцию, фельетон — и, если вы по неопытности, наивности или несдержанности характера, пришли выяснять, в чем дело — он, бывало, сидит за своим столом, эдакий сухонький седенький сфинксик, рвет, по своей привычке, листик чистой бумаги на узкие полоски — и молчит. Вы спрашиваете, доказываете, объясняете — молчит. Так и уйдешь ни с чем.

Надо, однако, отдать главному справедливость. Он, как никто из нас, пронизательно усекал в любом материале не только возможную крамолу — это само собой — но и какие бы то ни было неточности, недоговоренности, непроясненности. Остынешь — и видишь: а ведь старик, в общем, в чем-то прав! Ну, думаешь себе, и осторожная ж бестия... все-то видит...

Осторожен он был и впрямь — как зверь в джунглях: осторожен — и труслив. Любой начальственный телефонный звонок приводил его в состояние каталептической покорности. Никогда он не вступался за собственного сотрудника, если тот в чем-то оказывался повинен с точки зрения вышестоящего начальства. Этого ему в редакции особенно не могли простить.

— Напугали его в тридцать седьмом, — сказал однажды наш старый ревизионный корректор.

Я удивился:

— Он, что, сидел?...

— Не-ет, сидеть не сидел... но напугать напугали!

Подробностей я так и не добился.

Пришло в газету письмо из Югославии. Это само по себе было некоторым образом ЧП, хотя к тому времени Хрущев успел уже съездить в Белград и помириться с Тито. Поэтому, конечно, и письмо пришло. Почту расписывал по отде-

лам наш ответственный секретарь по прозвищу «Иван Капитаныч». В прошлом он командовал сельхоз-отделом и в гуманитарных вопросах не разбирался. Сеня Санников, наш сатирик, рассказывал: когда приехала к нам в город московская писательская бригада, а в ее составе — молодой, но уже повсеместно гремевший Евгений Евтушенко, Сене поручили устроить с ними встречу в редакции. Он поехал в Союз писателей — но застал там лишь одинокого Леонида Ленча. Сеня вспомнил: Ленч когда-то работал в нашей газете. Скучавший маэстро тут же согласился поехать, и Сеня позвонил Ивану Капитанычу насчет машины. «Кто? — сказал Иван Капитаныч. — Ленч? А ты ж этого хотел позвать... как его... Евтухова?» Понятно, что от тонкостей международной политики Иван Капитаныч тоже был далек. Письмо он расписал Гоше Дымову, который вообще живо интересовался всем, чем могло поживиться журналистское перо.

Гоша письмо прочел.

«Дорогие товарищи из газеты... — писал автор, чью доподлинную, весьма своеобразную русскую лексику и синтаксис я здесь передать не пытаюсь. — Пишу вам из Белграда, а когда-то довелось мне воевать с врагами коммунизма у вас в Средней Азии. Хоть и старались стереть из нашей памяти те годы, а я все и всех помню. Были у нас...» — и тут следовали фамилии, многие из которых Гоша хорошо знал: большей частью люди, расстрелянные в тридцатых или сгинувшие в лагерях. «А еще (писал автор письма дальше) был у нас молодой, отважный комиссар бронепоезда Степа Темник...»

Тут Гоша аж взвыл от восторга.

Степа Темник был наш редактор — Степан Семенович.

«Прошу товарищей, сообщите, кто из них жив, пускай отзовутся...»

— Ну, ребята, понимаешь! — говорил Гоша, расхаживая по отделам и по привычке мелко похотывая. — Ну, скажу я вам, и материальчик наклеивается! Ну, понимаешь, и зацепочка!

— Да не надейся ты, Гоша, — отвечали ему. — Не напечатает он в своей газете, что ты!..

— Зачем, понимаешь, в своей! — говорил Гоша. — Можно и в другой. В журнале, понимаешь! В Москву послать!..

Наконец, он отправился к редактору. Лучезарно улыбаясь и не выпуская письма из рук, он стал зачитывать его вслух. Редактор внимал, как обычно, не выказывая решительно никаких эмоций. Когда Гоша дошел до строчки о нем самом, голос Гошин прямо-таки зазвенел. Но на редакторском челе высоко не отразилось ничего. Дослушав до конца, редактор молча протянул руку, и Гоша вынужден был вложить в нее драгоценный листок. Редактор сложил его, сунул в прикрепленный, было, скрепочкой конверт, конверт — в ящик стола. Гоша помедлил. Ничего не последовало.

— Так что, Степан Семенович? — спросил Гоша. — Как ответим?..

Молчание.

Гоша покачал головой и, понурясь, вышел.

Еще несколько дней он кипятился, снова заходил к редактору — с тем же результатом, потом стал говорить: «Должен же он, понимаешь, хоть автору ответить! Письмо же зарегистрировано!..», потом все выпрашивал секретаршу, не отправлял ли редактор письма в Белград, потом сказал однажды в сердцах:

— Комиссар бронепоезда, понимаешь!.. Да он, понимаешь, комиссар собственной безопасности!..

Потом забыл об этом в текучке.

Редактор так на письмо и не отреагировал.

По всему по этому мы полагали: осторожнейший Степан Семенович останется редактором нашим до конца, до жизненного своего предела. Возможно, он и сам так думал. Хотя что он там себе думал, узнать было никак не возможно.

Осенью открылся республиканский партсъезд. Редактор находился там безотлучно, лишь рано утром и поздно вечером заезжая в редакцию. Правда, на третий день утром он не появился, и лишь после полуночи показалась в коридоре его сутулая фигурка. В кабинетах оставались одни дежурные, да Вадим Гаврилович в секретариате — старейший из наших сотрудников, единственный у нас, кто превосходил редактора возрастом и стажем. В секретариат редактор зашел. Вадим Гаврилович возился с третьей полосой. Редактор постоял, посмотрел. Посещение было в порядке вещей. Обычно он

так и уходил, как появлялся — молча. Но на этот раз стоял он что-то дольше обычного. Вадим Гаврилович поднял голову.

— Да-а... — неожиданно сказал редактор. — Да-а... ты тут всех нас переживешь...

И вышел.

В половине первого ночи принесли информационное сообщение о съезде — на первую полосу. Место для него было оставлено.

Вадим Гаврилович прочел: съезд утвердил нам нового редактора.

## Вдова

Это было осенью шестьдесят шестого. Ташкентский русский журнал, где меня тогда понемногу печатали, возмем при новом редакторе намеренье сделаться передовым и прогрессивным, под статью «Новому миру»; требовалось, конечно, занять соответствующий портфель; и я оказался одним из тех, кому редакция поручила охоту за такими материалами — не только у современников, но и в якобы открывающихся посмертно писательских архивах.

Замечательно, что редакция, как и многие в тогдашнем малоосведомленном обществе, не сознавала: «оттепель» кончилась. Наивно думалось: можно что-то еще легально продолжать, протоптать некую тропку, переломить что-то. И действительно — почти как чудо: один такой номер, фонд помощи жертвам ташкентского землетрясения, выпустить под шумок удалось. Составлен он был из неизвестных страниц Булгакова и Платонова, Бабеля и Мандельштама, и отвергнутых в Москве стихов Евтушенко, Панченко, Вознесенского, Ахмадуллиной... да и многого другого в том же роде. Эрэнбург, говорят, назвал этот номер «фантастикой». «Содержание» его и впрямь выглядело по тем временам как парад запретных имен. Черный рынок отреагировал немед-

ленно: экземпляр журнала котировался не ниже десяти рублей при номинальной цене копеек, кажется, шестьдесят. Но не менее оперативно откликнулись и наверху. Номер удостоился собственноручной двухстраничной записки Сулова. Смысл ее легко представить. Редактор был немедленно смещен, редакцию перешерстили, и журнал вернулся к прежнему прозябанию.

Но предшествовали этому — и выходу номера, и последовавшей реакции — несколько месяцев эйфории; один из этих месяцев я провел в поездке по двум столицам. Тогда-то и попал я к Марии Александровне Платоновой.

Если идти от Пушкинской площади, то после решетки и прохода к бывшему яковлевскому, то бишь герценовскому дому, ныне Литературному институту, начинается и тянется вдоль тротуара невысокий флигель. Здесь до войны и после нее находилось немало писательских квартир, понемногу вымиравших или освобождавшихся за выездом. Теперь, судя по окнам, все занято общежитием. Окна над тротуаром подняты столь мало, что этаж выглядит с улицы полуподвальным. Это не так: просто, наверное, тротуар поднялся. Но чтоб заглянуть в окно, надо, действительно, нагнуться. За тремя такими окнами, выходящими на нынешнюю троллейбусную остановку «Театр Пушкина», под старинным, торчащим из стены самого флигеля затейливым навесом, была когда-то квартира Платонова. В шестьдесят шестом там еще по-прежнему жила Мария Александровна.

Решительно не помню, кто дал мне тогда ее адрес, как я искал во дворе вход в квартиру. Только помню себя уже в квартире, Марию Александровну, обрывки разговора. Да и шел разговор рывками. Собственно, разговоров было два, как и моих посещений. Первый раз — когда я взял у нее рукописи, второй, месяца два спустя — когда возвратил. Но в памяти оба визита слились в один.

Я вот думаю — может, не вправе я все это вспоминать на бумаге? Память у меня плохая; не осознавая этого за свежестью впечатлений, записывать своевременно я зачастую ленился. Но кое-что все же помнится, и хоть эти крохи жаль утратить.

Марье Александровне было тогда уже явно за шестьдесят, но чернь волос еще сильно проглядывала сквозь седину, а угольные, полные настороженной энергии глаза смотрели из-под темных бровей, готовясь к отпору. «Вы откуда?» — спросила она, впуская меня нехотя. Я объяснил, откуда — и зачем: готовим номер журнала в фонд помощи ташкентцам, хотим непременно видеть в нем несколько платоновских страниц, а потом — напечатать роман...

— Какой? — спросила она, не смягчая жесткого тона. — Их три, ненапечатанных...

— Ну, сначала — «Чевенгур»... — о других я и понятия не имел.

— А вы его читали?

— Не читал, но... но знаю, — ответил я глупо.

— Как же вы можете знать, не читавши?..

Я взмолился:

— Мария Александровна! Да ведь я все-таки тоже на этой земле родился! Чем-чем, а слухом она полнится...

Она смотрела с недоверием, но и с сожалением вроде.

— Да ведь не напечатаете! — сказала она. — Если сами еще этого не знаете — поверьте мне.

— Времена меняются...

— Времена, может, и меняются, а люди сидят все те же!.. — она выдержала паузу. — Ладно, несколько страниц для журнала я вам дам. — Поднялась, пошла к шкафу у боковой стены, открыла — и почти сразу протянула несколько скрепленных страничек. — Это одноактная пьеса... Устроит?

Я энергично подтвердил, схватив драгоценные странички.

— А «Чевенгур»?.. — спросил я робко.

Она отвернулась к окну, постояла молча. Потом опять полезла в шкаф, с трудом вытащила толстую запыленную папку.

— Держите...

— Ох, спасибо!..

— Но чтоб мне ждать ответа не больше двух месяцев! Согласны?..

— Конечно! Конечно, Марья Александровна! — я развязал папку. Экземпляр был машинописный, не первый. Открылась какая-то страница, и сразу на ней — фраза: «Россия

тогда жила при лучине, но даровала свет всем народам». Ох, ты господи!..

Должно быть, она увидела и поверила в искренность моего восторга. Во всяком случае, как-то вдруг помягчала, словно сняла кольчугу; и разговорилась.

Что она говорила в первый визит мой, что — во второй, я — уж сознался — не помню. Да и неважно это. Сначала почему-то о Фадсее: «Они ведь с Андрей Платоновичем смолodu были очень дружны. Очень!.. Это Фадеев ему сталинский отзыв на журнале показал!.. После-то, грешным делом, Андрей Платонович полагал — велено было показать... Не знаю. Теперь думаю — он Андрей Платоновича прикрывал. До-олго прикрывал!.. Тогда ведь жили, как в зачетном лагере: день — за два, за три. Так что — до-лго!.. Сколько мог. Грехов на нем много было, на Саше... а все же кое-что смертью своей он искупил. Конец — делу венца. Был, знаете, такой литератор, доносы пачками писал, а как стали люди возвращаться, приходиться к нему да пощечины лепить — он: «Ну, все? Все?..» — и продолжал выпускать свои толстые монографии. А Саша-то ведь не смог... Но, главное, знаете, что во мне гвоздем сидит... За две недели, как ему уехать на дачу в последний раз, он трижды-четырежды проходил мимо моих окон, взад-вперед, взад-вперед... и наклонялся, в окна поглядывал. Высокий был мужчина. Я поняла — зайти хочет, поговорить, а не решаетея... Мне бы позвать, да я зла была, смертельно зла на всех за Андрей Платоновича, ничего не жалела. А после, как услышала... Может, подумала, перед смертью исповедаться захотел, повиниться?.. Может, легче б ему стало... Грех на себе числю, да. Хоть зла я и сегодня не меньше. Уж сколько лет Андрей в могиле, а они и с мертвым с ним делают то же, что с живым...»

Что делали с живым — о том она почти не рассказывала, а сам я слишком мало знал тогда, чтоб спрашивать. Да и то бы не стала, думаю: не сладко это было. Только раз: «Уж последний год — он не вставал почти, лежал больной вот здесь на диванчике, что рядом с вами — уйду куда-нибудь, возвращаюсь — в квартире какие-то люди. Серые. Я в квартиру — они вон. Спрашиваю: «Андрюша, кто это?..» «Маша, — гово-

рит, — сама, что ли, не понимаешь? Приходили смотреть — стоит меня брать, или уж сам помру...»

И — об этом доме: «Кто у нас только не жил!.. Соседка моя, справа, была Евгения Борисовна, Пастерначиха. Пастернак эту квартиру, как все мы, получил, но ушел вскоре, а Евгения Борисовна осталась тут с сыном Женей. Только недавно ей другую квартиру дали, нормальную. Скандал был, до самой Фурцевой... А Борис Леонидович тут ее навещал, помогал всегда; даже советоваться к ней приходил. Борис Леонидович святой был человек, святой! Одна слабость: юбки ни одной не мог пропустить... Тут и Мандельштамы жили. На кухне нашей общей и скандал тот произошел, знаменитый. Слышали?.. Когда Бородин наденькин чайник с керосинки скинул да выматерил ее, а Осип Эмильич вызвал его на дуэль... Ну, знаете же — наверное, и продолжение тоже знаете... Да, да, Бородин жил тут у нас, в холостяцкой комнате. А потом стал в вельможи подаваться. Он ведь теперь там, у вас, кажется? Как он тогда именовался, не помню... А-а, вот-вот, Амир Саргиджан... Такой у него всегда был вид, точно сейчас нагайкой хлестнет (я подивился точности ее впечатления: в Ташкенте произошел-таки эпизод с нагайкой). Потом-то пошел вверх, начальством стал. Однако, сорвался на чем-то. О-о, сколько я их, таких, перевидала! За всю-то жизнь! И — пока жив был, и — когда умер... Могильщики! Могильщики! И вот она — могила...»

И она повела рукой — не то показала на шкаф с рукописями, не то на всю комнату. Так она и осталась в моей памяти с этим жестом.

Одноактную пьесу в том самом номере журнала напечатали. «Чевентур» — почитали, подержали, сколько могли, потом вернули, и хорошо, что вернули вовремя. После сусловской записки лучше ему было в редакции не лежать.

Я отвез роман обратно.

Некоторое время спустя я рассказывал о Вдове приятелю; только что вышел булгаковский роман «Мастер и Маргарита», и речь шла у нас о Елене Сергеевне Булгаковой, о ее безвестном и жертвенном подвиге Хранения. Тут я и вспомнил Марию Александровну.

Поговорили, помолчали.

— Да-а, — сказал, наконец, приятель, — как подумаешь... русскому писателю нужна не столько хорошая жена, сколько хорошая вдова...

## Гена Снехерев

— Гена Снехерев — известный был советский детский писатель. Наверное, и сейчас есть, я не знаю: так случилось, что я его никогда не видел, не слышал и не читал. Возможно, это оказало благотворное влияние на мою жизнь. Потому как судьба моего друга Нити Миколаева, который жил с ним в одном доме, точнее прямо под ним, отдыхал в одной деревне, получал от него в подарок книжки с авторскими надписями и, может быть, даже их читал — судьба его была нелегкой. Гена Снехерев отличался немалыми причудами.

Однажды, например, потекла вдруг у Нити Миколаева вся квартира. То есть вся как есть! Текло и в комнатах, и в коридоре, и на кухне, и в ванной с туалетом, и все, что могло намочнуть — обои и краска на стенах, картины, книги, частью даже мебель — все на глазах превращалось в однородную жуткую массу и стекало дальше, на следующие этажи. Конечно, это ужасное явление природы попытались остановить, бросившись наверх, к Гене Снехереву: кто мог вызвать такое стихийное бедствие, поняли сразу. Но у Гены Снехерева никто не открывал. И не отвечал. И в глазок никто не просматривался. Только слышно было: льется вода, и явно сразу изо всех возможных кранов. Помчались за управдомом, но его не было, а когда нашли — слесаря не оказалось, когда же чудом обнаружился слесарь — при нем инструментов не нашлось... Словом, пока весь этот комплект вместе собрали, дом уже оказался под водой, только верхний этаж торчал, как вершина Арарата. Стали, конечно, снехеревскую дверь вышибать, а когда вышибли, выяснилось: она изнутри мало что заперта была, так еще и законопачена и заклеена. И вода

оттуда хлынула прямо водопадом — во всей квартире она стояла высотой сантиметров в сорок. И посреди этого рукотворного моря сидел голый Гена Снехерев, лицом в угол, в дупель пьяный и совершенно бесчувственный и безглагольный.

Выволокли его из квартиры прямо в костюме Адама, наорали во все глотки, исключительно, чтобы разрядиться, и стали допытываться, чего ради он это наделал. Гена на какое-то мгновение и впрямь очнулся, глянул мутным глазом и сказал:

— Чо, бля... бсейн, на хуй... бсейн, бля, хчу... — и снова впал в каталепсию.

В общем, когда пик раздражения миновал, никто даже и особенных претензий не высказал. Что толку? С Гены что возьмешь? Он большую часть жизни проводил в состоянии опьянения, остальную же — либо в выходе из него, либо, так сказать, в новом подготовительном периоде. Притом ни одна из этих стадий не сопровождалась ни подъемом духа, ни хоть некоторым оптимистическим расслаблением. Напротив, с каждым глотком он становился все мрачней и мрачнее, садился, по обыкновению, мордой в угол и начинал очередной монолог, нимало не заботясь, слушает ли его хоть кто-нибудь. А если и слушает — кто именно. Ибо монологи его отличались той своеобразной лексикой, какая присуща простому русскому человеку в своей и притом сугубо мужской компании.

— У меня, бля, знаешь, на хуй.. а бал это... у меня, бля, до хуя всяких знакомых, бля... все, бля, есь... и дворники, бля, знакомые... и полковники, бля, знакомые... всех до хуя. Один, бля, кегебешник даже, бля... Они, суки, бля, хитрые, кегебешники... сразу, бля, и не поймешь... вроде, бля, мужик как мужик — а как бля — так сразу, бля... ну и хуй с ним. Он мне, бля, историю рассказывал... В каждом, бля, морге ихний человек сидит, бля... Сидит, бля, и тырится. Сморит, бля — как свежего привезут, на Ленина похожего... он его — хлобьсь! — и, бля, под мавзолей. А у них, бля! — под мавзолеем холодильник, бля!.. На всю Красную площадь, на хуй... И полный, бля, на хуй — ленины, бля, до самого верха ле-

жат! Как один, бля, протухнет, на хуй — они сразу, бля, нового, бля, выставляют...

Поскольку, в силу весьма однообразного течения Гениной жизни, слышать от его иные речи мало кому приходилось, возникла неразрешимая как бы загадка: как же и когда создает он свои многочисленные детские книжки?.. Ибо они-то как раз отличались тем занудно пуританским, до зевоты благопристойным стилем, который являл собою полную и разительную противоположность его устной речи.

Одним из любимых развлечений нашей небольшой компании были разные пародийные номера Нити Миколаева. Нитя был прекрасный рассказчик и вообще весьма артистичен: потом он подался-таки в актеры. Первым номером шла пародия на Гену Снехерева — как он выступает перед ребятами в детском саду. В качестве известного детского писателя Гену Снехерева действительно регулярно приглашали на такие выступления. Входя в роль, Нитя — высоченный и тощий, как жердь — как-то вдруг перестраивался, словно текст на экране компьютера, меняющий формат, уплотнялся, делался ниже ростом, отворачивался к углу и говорил разболтанным, гнусовато пропитым голосом:

— Охусли тут, бля, в жопу, всё, с-суки, деткам наврали, ну вот я вам сейчас настоящую, бля, сказку расскажу. Липатовскую, бля, сказку, полный пиздец. Про зайчика, бля, на хуй, и красную сапочку. Ну, ты, бля, засранец, чего, бля, тыришься, не знаешь, бля, что такое красная сапочка?.. Вот, бля, идет красная сапочка по лесу, навстречу ей заяц, бля, хуярит. Во такими, бля, скачками, заебаться! Красная сапочка говорит: ты, бля, куда? А он ей: совсем, что ли, на хуй опизденела, не слышала — всех верблюдов, бля, подкуют? Ах, ты, падла буду, говорит красная сапочка, но ты ж, бля, не верблюд?.. А заяц ей: подкуют, бля, а потом доказывай, что ты не верблюд...

Кое-кому из наших тоже Гену приходилось видеть, и они утверждали, что Нитя в этой сцене — ну, вылитый Снехерев.

Однажды Нитя явился на сборище особенно торжественный.

— Ну, детки, — сказал он, — сейчас я вам настоящую сказочку расскажу. Гена вчера подарил мне свою новую книжку!



Он вытащил из кейса красочное издание огромного формата, раскрыл, мгновенно перестроился в Гену — и прочел первую фразу. Мы все так и покатались. Не потому, что фраза была смешна. Напротив, она была ужасающе длинна и благопристойна. Но именно контраст между нею и привычным образом Гены Снехерева — комичен был непередаваемо. Нитя прочел еще фразу — и тут кто-то заорал:

— Сто-оп! Давай лучше вставляй сюда всю... всю лексику!

Нитя глянул, прищурился — и стал читать текст с соответствующими вставками. Господи боже мой! Да это же и была та самая Нитина пародия на Гену в детском садике! Чуть не слово в слово!..

Великая загадка Гениного творчества решилась у нас на глазах. А может, и не только Гениного?.. А и всей великой советской литературы?..

## Сашка

На второй год войны свежеиспеченный лейтенант Иосиф Берман прибыл к месту назначения, во фронтовой авиаполк. Явился к командиру полка, отрапортовал.

— Как, говоришь, фамилия?

— Берман...

— А зовут?

— Иосиф.

Комполка поморщился.

— Э, нет, так не пойдет... Верховный Главнокомандующий — Иосиф, ты — Иосиф... Так не пойдет... Пуганица какая-то... Сашкой будешь.

Так и был всю войну — Сашкой.

## Части речи

— Я тебе сколько раз говорила — учи части речи!.. А ну, каки знаешь!

— Ну, ета... существительно...

— Та-ак! А чего делает?

— Существует...

— Скажи пример!

— Ну-у... собака.

— Чего делает?

— Гавкает.

— Это чего?

— Чего?..

— Кака часть речи?! Чего...

— Ну-у... ета... прилагательно.

— Чего делает?

— Прилагается!

— К чему прилагается?

— К собаке...

— Ну, правильно. А то: ня знаю, ня знаю!.. Спросют — так и отвечай.

## Свинарь

Я осенью с женой развелся. Психовал — жутко! И достали мне путевку. В дом творчества актеров. Под Звенигород. Приехал — а это оказался пионерский лагерь: зимой на дом творчества переделывают. Ну, ладно. Дали комнатку в зимнем доме, двухместную. Устроился, взял книжку, лежу, читаю. Через час является парняга — на вторую койку. Колхозный свинарь из-под Брянска. Ну, ладно. Я только сразу учул: он уже поддатый пришел. Сел на кровать, достал бутылку, допил. И говорит: «Мужик, я счас спою». Нет, говорю, вот это — не надо. Он говорит: «Мужик, я все песни знаю. Я спою, мужик». Я говорю: «Ты, что не видишь — я глухонемой?» Он говорит: «Как это — глухонемой?». «Так это, говорю. Мне барабанные перепонки вырезали и между пальцами

вшили». «Ну и что?» — говорит. «Ничего, — говорю, — теперь плаваю, как утка». Он говорит: «Значит, ты с моря?» «С моря, говорю, с моря». «Ну, говорит, мужик, тогда я тебе матросские спою!.. Я все матросские знаю». «Тьфу, говорю, можешь ты понять своей башкой: я же тебе горло перегрызу!.. Я сумасшедший, у меня справка есть! Понял?» «Понял, говорит. У меня у самого брат в психушке». «Правильно, говорю, значит — ложись и спи». Он так на меня уставился, поглядел, потом говорит: «Ланно». И лег. И захрапел. Ну, слава Богу, думаю, а сам опять распахнулся. Не читается даже. Развод вспоминаю. Ну, потом я заснул, и снилась мне, помню, наша с женой комната. И вдруг — с чего не пойму — точно меня что толкнуло — просыпаюсь. Уже почти темно, а мой свинарь стоит надо мной и как раз собирается помочь!.. Тут я вскочил, и правда, как сумасшедший. Ты что, кричу, ты что, пьяная твоя харя? А он со сна не в себе, это я потом понял, и принял мою кровать за туалет. Или вообще думал, что вышел на улицу облегчиться... Я его слегка отмытил, под горячую руку, потом сгреб и в коридор вытолкнул. А дверь запер. Слышу, он толкается во все двери, и никто ему, конечное дело, не открывает. Потом зажурчало где-то — и смолкло. Но я все не открываю — очень на него разозлился, на гада!.. С час его за дверью продержал, потом впустил. Припелся он на свою кровать, лег, сперва молча лежал, потом забормотал что-то. Прислушиваюсь. А он, негромко так, злобно повторяет: «У-у, жида, антелехенты... засли нашу жисть... заели... у, жида, антелехенты...»

— А ну, заткнись! — говорю. Замолчал, потом снова свое потихоньку. Ладно, думаю, чорт с тобой. Я не жид, не интилихент... мне что? Сам замолкнешь... И правда — заснул он.

А утром я все ж таки в другую комнату попросился. Перевели!

## Папаша

— А-а, — сказал мой собеседник, — так ты ж его знаешь?!

— Знаю, а как же!

— Он ничего мужик. Нормальный. Но папаша у него был — что ты!.. Троглодит, страшная личность! Во-первых,

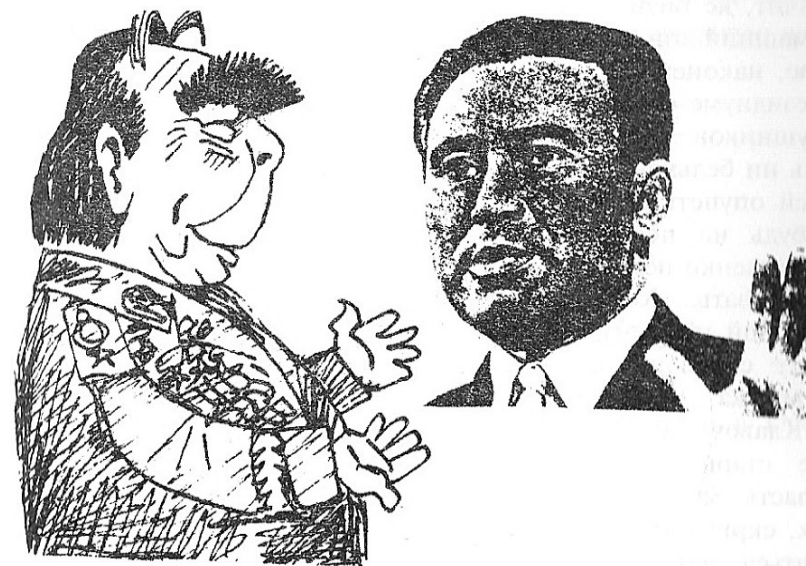
кандидат педагогических наук. Уже хорошо. Во-вторых он себя почему-то профессором именовал. Каким профессором, чего?.. Но это тоже полбеды. Кошмар начался, когда он откопал в «Британской энциклопедии» за прошлый век статью «Эстетика». Статья, видишь ли, была подписана инициалами «К. М.» И папаша решил, что это обязательно «Карл Маркс». Доказательств у него, понятно, не было никаких, но он носился с этой статьей, как неандерталец с британской короной. И всюду заявлял, что в лице этой неизвестной статьи мы имеем, наконец, основополагающую базу марксистской эстетики. Начал он с того, что буквально изнасиловал Озерова. Ты ж представляешь: изнасиловать Озерова все равно, что изнасиловать троллейбус. Но папаша-таки своего добился. Озеров напечатал его перевод этой статьи у себя в «Воплях». Сделал он это, конечно, из смутного опасения, что а вдруг статья действительно Маркса?.. И тогда выйдет, что он зажимал важнейшее открытие... Но, с другой стороны, чтоб не вляпаться в противоположную лужу, предложил в том же номере высказаться трем китам марксистской эстетики: Лифшицу, Разумному... и еще кому-то... забыл. Киты, надо им отдать справедливость, высказались однозначно. В том смысле, что статья имеет такое же отношение к Марксу, как вешалка к гильотине. И что Марксу в это время было не до эстетики: хватало «Капитала». И что стиль не марксов. С этих пор он всеми правдами и неправдами узнавал о любых гуманитарных защитах диссертаций, являлся и выступал, повергая в прах диссертанта, оппонентов и всех прочих. Начинал он так: «Такого-то числа в таком-то месяце тысяча восемьсот такого-то года совершился переворот в эстетике...» Имелся ввиду выход этого тома энциклопедии. Все выставленные на защиту впали в поголовную панику. В дни защит выставлялись пикеты, заслоны и партизанские отряды. Но он пер, как танк, и обязательно оказывался на трибуне. После нескольких месяцев такой горячки он уговорил какого-то академика выставить его, папашину, кандидатуру — в членкоры. О выдвижении напечатали в газете. Это был день торжества. Папаша ликовал так, словно его уже выбрали. Конечно, выбрать ну никак не могли, он даже доктором не

был, и заслуг, кроме пресловутой «марксовой» статьи, никаких не имел... Но он этого, видно, и вправду не понимал.

Ночью, после публикации в газете, у него случился инфаркт, и к утру он умер... Представляешь? И я вот думаю, чем же это он так богу угодил?..

## Конферансье

— Подфартило мне однажды... — рассказывал Олег Мьявский, известный в свое время конферансье. Родом он из Ташкента, и, хотя дело было в Москве, сидели мы в тесной ташкентской компании, да еще не где-нибудь, а в ташкентском ресторане «Ташкент». Ресторан прислал свою бригаду на конкурс фирменной национальной кухни, устроившийся уж не помню по какому поводу, на ВДНХ. Подавали тогда знакомые официантки — Шура, Катюша, Машенька; в другие времена, когда сотрапезники мои были молоды и почитали ташкентские рестораны, эти шуры, кати, маши были



надо полагать, хорошенькие разбитные девицы. Теперь они превратились в дородных матрон, но так же легко, с привычной улыбкой, отзывались на уменьшительные имена и делали вид, что разделяют ностальгические воспоминания сегодняшних клиентов. А может, и вправду разделяли, чем черт не шутит. Впрочем, время — для всех время, и за столом тоже все сидели лысые, или седые, и все — с брюшком, исключая Милявского. Он — актер, как-никак — вынужден был держать форму.

— Да, так вот... подкинули значит, мне поездку по ГДР. Сами понимаете, таксе не каждый год выпадает. Ездим с группой неделю, другую, третью. Дня четыре нам оставалось — и вдруг приезжает за мной черная машина. Были мы как раз в небольшом городке... как же он назывался?.. а, черт с ним, не помню. Сажает в машину: «Вас срочно требуют в Потсдам». Правду сказать, ребята, поджилки у меня тряслись всю дорогу, хотя машина как по маслу катила. Спрашивать — страшно. Да и не ответят — молчаливый народ... — мы все мрачно улыбнулись. — Приезжаем в Потсдам — гляжу, из такой же машины Клавдию Шульженко высаживают. Тоже там гастролировала... Ну, думаю, раз так, значит, не очень страшно. И тут как раз объясняют: дадите домашний концерт лично для Леонида Ильича! Ага... соображаю, наконец: шел же съезд СЕПГ! И Брежнев пять дней в президиуме отсидел. В наушниках — переводчик-зануда. Без наушников — сплошной немецкий лай. Мало что не понимаешь ни бельмеса, так еще и знаешь все наперед! Это за пять дней опупеть можно. Он, видно, и опупел. И захотел чего-нибудь на нормальном языке послушать. А тут как раз Шульженко подвернулась! Ну, и я впридачу... Что вам, ребята, сказать... Концерт был как концерт, только зальчик небольшой и слушатель один-единственный. Бровеносец наш — сидел и наслаждался. Только покрикивал: «Молодец, Клавочка, молодец! Спой-ка еще эту... ну, сама знаешь...» И Клавочка все в масть угадывала. Ну и я тоже изощрялся, все старые хохмы вспомнил. Похохатывал наш Ильич всласть. Заканчиваем — он нас к обеду приглашает. Любезно так, скрипучим своим басом. Отведайте, мол... Должен признаться, дети мои, что обед был получше сегодняшнего...-

все с готовностью засмеялись, хотя еще десять минут назад готовы были поклясться, что лучше обеда, чем сегодня, и не придумаешь. — Перечислять, — сказал Олег, — я не буду, чтоб вас не дразнить, но можете мне поверить на слово. Сидим, едим, чокаемся, выпиваем, снова едим, а Ильич говорит:

— Межу прочим, Олех, мы с вами в онном концерте выступали!

Вы ж знаете, ребята, я хохмач по профессии, мне шутки полагается с налета понимать, отбивать, как мячик, а тут я гляжу болван болваном и всерьез думаю: о каком концерте он говорит?..

— Извините, — говорю, — Леонид Ильич, не припомню...

— Ну, как же! — говорит. — Я еще там торжественную часть вел, а вы — культурно-массовую!.. Хо-хо-хо!

Тут только до меня дошло: он о съезде КПСС говорит! Я действительно конферировал на концерте после съезда... Вижу — и он хохочет, и Клава заливается, тут и меня разобрало. Должно быть, напряжение снялось... Но он же остроумный человек, а, ребята? И смелый! Мне б за такую шутку — лет десять дали...

## *Смерть Черненко*

Пятилетний мальчик прибегает со двора, неся в клюве свежую новость:

— Папа, папа! Андропов опять умер!

## Драгоценности

Рассказ бывшего майора милиции

— Приехал в Ташкент молодой домушник-гастролер. Дали ему адресок. Пригляделся, влез, взял хорошо: драгоценности, деньги. Но адресок-то дали не то по неведению, не то со зла: дом был — дочери первого секретаря. Милиция сработала молниеносно: гастролера взяли в тот же день. Со всем добром: даже не успел и малости денег потратить. Доложили министру: задание выполнено. Министром был ближайший рашидовский человек, исполнитель самых деликатных поручений и дел, включая мокрые. Я у него тогда референтом была. Вызывает меня к себе: «Посиди, сейчас пострадавшая придет». Действительно, является дочка. Он ее, как наследницу престола, встречает; усаживает, извиняется: мол, не уследили вовремя, но сейчас, слава богу, все вернем. И — по телефону: «Принесите». Приносят двое ящик. Не оговорилась: ящик. Здоровый такой. Полный драгоценностей. Наверняка все, что не по одной сотне дел проходило.

Министр и говорит ей:

— Пожалуйста, посмотрите. Все, что тут ваше, можете забрать...

Она встает, заглядывает в ящик, перебирает с полминуты рукой — и говорит, не моргнув глазом:

— Это все — мое!

Министр ей, тоже глазом не моргнув:

— Пожалуйста, забирайте...

Она так спокойненько достает из сумки мешок, ссыпает драгоценности, прощается — и уходит. Я уж на что человек привычный, а и у меня, видно, челюсть отвисла — недаром министр на меня глянул искоса. И снова — в телефон: «Унесите». Пришли опять те же двое, заглянули в ящик, но — ничего: взяли и ушли.

И все.

## На заправке

— Подъехали мы к заправке, выстояли в очереди, как положено, встали у колонки. Гурам вылез, платить пошел, а тут белая «волга» сбоку очереди подъезжает, выходит водитель, берет из колонки «пистолет» и, ничтоже сумняшися, собирается себе заливать... А Гурам заплатил, подходит как раз, увидал, стал такой спокойный-спокойный: «Дай сюда!» — говорит. Тот тип отвечает: «Подождешь малость!.. Не видишь, чья машина?!..» И опять тянет «пистолет» к своему баку. Гурам ему, так же спокойно: «Я же сказал — дай сюда! Это мой бензин, и очередь моя!» «Ты, что не слышал? — говорит тип.

— Не видишь, что за машина? Отойди в сторонку, пока целый!» Тогда Гурам — р-раз! — выхватывает у него «пистолет», на него направляет, нажимает... тот за секунду — весь в бензине, с ног до головы, а Гурам поворачивается к нам и снова — спокойно, медленно так, с расстановкой: «Ребята... — говорит. — Спичек... ни у кого не найдется?..» Ну, то есть — как тот тип за миг из глаз исчез, так только в кинотрюках бывает — был человек, и нету, слинял, растаял!.. Гурам пошел, за бензин доплатил, залил в бак — и мы поехали. Едем, молчим, вдруг Гурам к нам от руля поворачивается:

— Я, — говорит, — ребята, человек спокойный... ну вспльчивый!

## Возврат

Есть немало историй, начинающихся: «Наш герой, имярек, проживал в городе Н. ...» Здесь все наоборот: наша героиня, гражданка Н., проживала в Энске. Одинокая буква вместо фамилии диктуется тут единственно соображениями деликатности, ибо дальнейшее изложено с протокольной точностью, а кто знает, как еще повернется жизнь?.. Итак, гражданка Н. проживала в Энске, в однокомнатной квартире, которую вот уже восемь лет делил с нею могучий датский

дог Петя. Женщина немолодая и не очень здоровая, Н. каждый трудовой отпуск проводила в Кисловодске, куда летала самолетом: Энск стоит от Кисловодска на расстояние, которое можно вообразить себе, лишь взглянув на карту мира. На время отпуска обычно приезжала из соседнего города сестра, с которой дог Петя и оставался. Но в этом году, в самый канун долгожданного месяца, от сестры пришла телеграмма: «Приехать не могу целую подробности письмом». Стало ясно: дога Петю придется брать с собой...

В авиакассе Н. сказали: собаку взять с собою можно, но требуется приобрести на нее отдельный билет. Детский? — с надеждой спросила Н. Нет, какой там детский, ответили из кассы, обыкновенный взрослый... И Н., тяжело вздохнув, выложила денежки, а всю дорогу домой думала, какой страшный удар по ее скромному бюджету нанесет полет Пети туда и обратно. Дома, однако, ее встретил сосед по лестничной площадке, который сообщил, во-первых, что ее обманули, поскольку собак провозят как багаж, по живому весу; а во-вторых, что ей принесли еще одну телеграмму. Вторая телеграмма была тоже от сестры: «Приеду письма не жди». И обрадованная Н. тут же помчалась обратно на аэровокзал — сдавать билет на дога.

В окошке с надписью «Возврат» ей, выслушав, сказали, что (пожалуйста, билет принять от нее могут, но ее билет, а не дога, потому, что возврат билетов производится по паспорту владельца билета, а какой может быть у дога паспорт?.. Н. горячо возразила, что, напротив, и у дога есть паспорт, и там, в отличие от ее паспорта, указаны даже предки до такого-то колена. Но ей ответили, что здесь аэропорт, а не собачья выставка, и если она хочет, так пусть и сдает свой билет, а не хочет — так нечего морочить голову занятым людям, тем более, что позади нее уже выросла большая очередь. И если она со своей собакой не понимает простых человеческих слов, то очередь все объяснит ей по-своему. Возмущенная Н. пошла к окошку рангом и этажом выше, но и тут ей столь же популярно объяснили, что, покупая авиабилеты, надо сперва подумать своей головой, снявши же голову, по деньгам не плачут. И, поняв, наконец, что денежки ее плакали,

она отправилась домой, пытаясь утешаться тем, что догу, по крайней мере, не придется покупать обратного билета. Утешение, однако, действовало плохо. Дома Н. села за стол и написала обо всем в редакцию областной газеты «Энское знамя», каковое письмо перед отлетом опустила в почтовый ящик.

В редакции письмо получили, возмущались до колик, и ответственный секретарь Нюнечкин поручил фельетонисту Петру Подъяремному написать на этом материале фельетон. Фельетонист потрудился на славу: к утру фельетон был готов, да такой, что Нюнечкин сказал Петру Подъяремному: «Умри, Сережа, лучше не напишешь!» Фельетон назывался «Год дога, или Аэродрама». Его с восторгом прочла вся редакция, а Нюнечкин понес редактору — на прочтение и подпись.

— Авенир Терентьевич, — сказал он, — вот, прочтите, хочу в номер ставить — первоклассный материал!..

Редактор сумрачно взглянул на Нюнечкина, взял и стал читать. Дочитав, он поморщился, как бы потянул носом воздух — и сказал, наконец, брезгливо:

— Тер-петь не могу собак...

И сунул странички в папку с надписью «Возврат».

## Бросил

— Курите?

— Нет.

— Вот и я бросил. В реанимации, знаете, лежал, тут капельница стоит, тут игла воткнута, сестра третью бутылку меняет, а рядом сосед такой же. Дело второго мая было, сосед и говорит — давай, говорит, тяпнем, есть у меня малость... Не, говорю, я — ни-ни, у меня ж капельница! Да брось, говорит, по малости же! Чего там! Ну, говорю, ладно, полстаканчика... Вытащил он, это, свою заначку, разлил, выпили — хорошо-о!.. Но мало. Давай, говорит, еще по малости? Я ви-

жу — выпил, а порядок! Ну, давай, говорю, чего ж... Выпили — и тут, чую, меня перекосило! Всю морду набок! Рот куда-то на ухо полез! Н-ну, думаю... с тех пор и бросил курить.

## Гармонь

— Гармонь, говоришь?.. Гармонь, конечно, вещь... Я вот тебе расскажу. Мы еще в колхозе когда жили, старший брат гармонью сильно увлекался — уж так играл, на всю округу был гармонист, ни одна свадьба без него, бывалыча, не обойдется, ни одна гулянка. А тут его возьми и в председатели выбери. Он-то сперва ни в какую, а они — давай, Митрий, и все. Ну, стал он председателем, и зачала его наша мать пилить: брось гармонь да брось, ты теперь сурьезный человек, председатель, а какой председатель с гармонью? Так себе, дурак-гармонист! А он эту гармонь люби-ил — так любил, душа, видно, к ней прикипела. Что ты, мол, мать... Нет! Бросай — и все! Пилила, пилила, девки, бывало, под вечер придут — сыграй, Митя, а она их шугает: он вам не гармонист, председатель он, вот кто!.. да. Однова, как он на работу, она возьми гармонь да и спрячь. Приходит вечером: где гармонь, мать? Нету, говорит, в колодец бросила! Ну, ладно... Вечером, как всегда, народ приходит, девки: сыграй, Митя! Да нет гармоники, мать, мол, в колодец бросила! Что ты думасшь? Полезли в колодец, все обшарили — нету! Где, говорят, гармонь-то, скажи, Петровна? А мать — ни в какую! Так и заначила, а вскорости брат из председателей попросился: нету, мол, моей мочи, не по мне дело!.. Отпустили его, и в город мы подались, а там еще и обжиться не успели — война. Ушел брат на фронт, всю войну от звонка до звонка оттрубил, однако, вернулся. Приехал — и решил первым делом в родную деревню съездить! А деревни-то нет!.. Сгорела! Вся, как есть, сгорела, два домика осталось. Да... Заходит он, значит, в один дом, а там бабка, старая-престарая, уж и узнать, что за бабка. А на полке у ней — гармонь! Его гармонь-

то... Стал он у ней просить: продай, мол, бабка! Поскрипела — и говорит: сколько дашь? Сорок пять рублей дашь?.. Ну, он вынул, отдал, вернулся с той гармонью в город, радуется незнамо как... Пошел на работу устраиваться, там его зачем-то на рентген послали. А с рентгена — в больницу: рак... Год всего и протянул, или меньше — меньше! — только что и поиграл на гармонии перед смертью... Вот тебе и жисть наша. А ты говоришь — гармонь...

## Восстанию воскресе

— В войну, да сразу после войны — меж людьми по-другому все же было: и понимали, и жалели, и посочувствовать, помочь могли, и порадоваться вместе... Мы вот тогда в бараках жили, на работу я двумя автобусами ездила. В сорок четвертом мы на отца похоронку получили, вскорости и я на работу пошла. Весной сорок пятого еду я как-то с работы, одним автобусом доехала кой-как, а на второй — ну, никак не сяду, три машины пропустила, уж думаю, не пешком ли пойти — да там под мост надо было, шпаны полно, как раз раздуты... Дождалась все же, влезла, народу — битком, чувствую — кто-то меня дергает. А ну кончайте дергать, говорю, а то щас обернусь — и в рожу! Снова дергают. Ну, думаю!.. Обернулась — а это тетка моя. Глянь, говорит, Мария, кто вон там сидит. Смотрю, мужчина в годах, одной руки нету, а лицо — знакомое! Тетка: гляди, гляди, Мария... это ж батька твой!.. Я взвyla, протолкалась к нему кой-как, кинулась, реву. Водитель решил — случилось чего, остановил автобус. Ну, сказали ему, поехал дальше. Отец-то без руки вернулся, сразу домой — засомневался, заехал к тетке, а уж она его — к нам повезла... Да. Подходим к бараку, стучу, мать открывает: ты где шляешься, я уж невесть чего думала... Видит — лицо у меня в слезах, решила — гонятся за мной, и дверь захлопывает. Постой, говорю, посмотри, кто там. Ну, конешное дело, взвyla пуще моего, весь барак проснулся, а на ночь свет

выключали, дак все — кто с лампой, кто со свечкой, кто спичками чиркает. Кричат, радуются, а одна старуха как затянет: «Христос воскрес-е-е!» И полбарака в ответ «Воистину воскрес!» И точно — после похоронки-то.

Полную ночь наш барак не спал. Утром еду на работу — баба рассказывает: вчера, мол, в этом автобусе девушка отца с войны встретила, после похоронки!.. И все ахают, все радуются, все переживают. Потому — все ведь ждали...

## Протокол

— Приезжаю я, значит, туда в командировку, лето, жара, я в рубашке с распахнутым воротом, гляжу — мамочки мои, все в галстуках! И в конторе — все в галстуках, и на улицах, и в магазине... Ну, думаю, и протокол! С чего это они все при таком параде?.. На второй день узнаю: водки, конечно, в продаже нет, вина — нет, и одеколон продается только с нагрузкой — с галстуками...

## Маленькие хитрости

— У меня Серега, дальний родственник, в ГАИ работает. Не то чтоб он мне в чем особенно помог... на права сам сдавал... мотоцикл батя купил... но все ж таки спокойней как-то. Если что, думаешь, можно и к Сереге обратиться. Он вроде парень ничего, не зарвался пока. Да и молодой — на два года всего-то меня и старше. Как вышло распоряжение всем мотоциклистам строго в шлемах ездить — он мне и говорит: «Смотри, Сашка, не нарушай! Это, между прочим, не для нас — для вас, дураков, придумано!» Понятно, что для нас; и кто б не захотел в шлеме гонять?.. Но попробуй — купи тот шлем! На луну легче слетать... Я уж всю округу объездил, всех знакомых просил — ну, нету!.. Приказ легче всего издать.

Вот на днях гоню по шоссе — конечно, без шлема — вижу, гаишник уж издаleка свою дубинку выставил. Ах, ты, черт, думаю! Но подъехал ближе — от сердца отлегло: Серега! «Здорово! — говорит. — Опять, родственник, нарушаешь? Тебе, значится, закон не писан? На меня надеешься?..» «Серега, говорю, гад буду, ну, все обшарил — нету нигде этих шлемов!» «А это, говорит, никого не колышет... Значит, не ездил, пока шлем не купишь!.. Думаешь, это все так, фуфло? Если ты, дурак, головой об асфальт навернешся — что от тебя останется? А шлем — он же тебя, охламона, спасет, непонятно?..» «Понятно, говорю, Серега...» «Нет, говорит, это тебе на словах понятно... а вот я тебе сейчас на практике покажу. — Да как рявкнет: — Стой рядом!» Ну, я стою. Прошло несколько машин — мотоциклист показался. В шлеме, честь по чести. Серега его останавливает. Тот подъехал, встал, на лице вопрос. А Серега подходит и, ни слова не сказав, ка-ак трахнет его дубинкой по кумполу!.. Ма-мочки! Парень — кувырк из седла, машина — на него, шлем — на кусочки, а сам — в крови и без сознания. Гляжу — Серега мой белый, ни кровинки в лице. Наклонился: «Парень, кричит, парень, ты что?..» А уж оба видим — что: парень шлем-то себе из картона соорудил! Да так ловко, покрасил — сходу и не отличишь...

Еле мы его в чувство привели. Еле объяснили, что и как. Серега уж извинялся, извинялся. Ладно, говорит парень, а сам чуть языком ворочает. Не буду, говорит, жаловаться, но и ты, инспектор, меня запомни... Деловой оказался, без амбиции.

Вот так, значит, Серега мне урок преподал!..

А недавно, слышал я, в Грузии рубашки выпустили для автомобилистов — светлые рубашки, а наискось — готовая черная полоса: с понтом ремень надет!

Придумывает народ. Старается соответствовать...



## Новый директор

Начальник тюрьмы в одной из среднеазиатских столиц ушел на пенсию. С почетом, по выслуге лет. Власти стали думать, как использовать ценного специалиста. В то же время ушел на пенсию и директор издательства. Этот, правда, ушел не сам: его «ушли». Чего-то не обеспечил, что-то запустил... Что именно — неважно: главное, образовалось свободное место — и появился свободный руководящий кадр. И бывшего начальника тюрьмы назначили директором издательства.

Вообще-то смеяться нечего. Случай рядовой. И если вы думаете, что жизнь в издательстве всерьез изменилась, то сильно ошибаетесь. Не изменилось ничего. Кроме одного, разве. Прежний директор появлялся на работе около полудня. Новый приходил ровно в девять. Приходил, раздевался у себя в кабинете — и вновь выходил в коридор. Шел по этому длиннющему коридору, распахивал за дверью дверь и, всунув голову, спрашивал:

— Жалоб нет?... Жалоб нет?..

## А вам, гражданин...

Журналист из провинции приехал в командировку в Москву — и оказался на Пушкинской площади, на знаменитом углу у здания «Московских новостей», где на стене рядом с официальными стендами виднелись расклеенные газеты всех мастей и форматов, толпились люди, бурлили водовороты маленьких митингов, стояли и сидели продавцы всякого рода печатной продукции. Перед одним из продавцов приезжий увидел разложенные экземпляры толстенькой брошюры «Протоколы сионских мудрецов». У него даже дыханье перехватило. Об этой знаменитой фальшивке он раньше только слышал. Продавец сидел на раскладном стульчике, читал что-то.

— И сколько ваши «Протоколы»? — спросил приезжий. Продавец ответил лениво, не поднимая головы:  
— Пять рублей.  
— Да-а? — удивился приезжий. Он уже полез, было, в карман за деньгами. Но что-то в его интонации, видимо, насторожило продавца: тот поднял голову, посмотрел. Приезжий журналист был типичный еврей, ярко рыжий, с выдающимся носом.  
— А с вас, гражданин, — сказал продавец, прищурясь, — с вас... Семь!

## Правка

Давным-давно как-то жил я в далеком восточном Доме творчества писателей. В ту пору — как, впрочем, и сейчас — был я решительно никому не известный литератор, но тогда еще сравнительно молодой, а потому не оставивший надежд. Все мне казалось любопытно — в литературном мире и в мире вообще. В одну из соседних комнат прибыл из Москвы прославленный поэт-переводчик. Много старше меня, человеком он оказался доброжелательным. Мы познакомились. Шла вторая половина шестидесятых, хрущевская оттепель кончилась, росло ощущение надвигающегося заката и реставрации. Верить в это не хотелось, но все рассказы о прошлом впитывались жадно: вдруг что-нибудь в них найдется такое... подсказывающее...

Мы шли по саду.

— Скажите, — спросил я. — А Сталина... самого... вы видели?

Он засмеялся:

— Ну, конечно! — и тут же рассказал прелестную байку о приеме в Кремле по случаю завершения первой таджикской декады. Теперь история эта опубликована — хотя, мне кажется, и не совсем в том варианте, какой я тогда услышал. А может, это я сам впоследствии что-то в ней переиначил, приспособлявая к устным рассказам. — Вообще-то я видел его не раз, — продолжал он. — Но, знаете, самое боль-

шое впечатление произвел не он сам... а его дача! Да, да... конечно, уже после его смерти... Нас, нескольких писателей, повезли туда на экскурсию. Тогда там еще собирались музей сделать. На даче встретила нас женщина... бывшая его домоправительница. Как же ее звали? Такое простое русское имя... Нет, не могу вспомнить. Говорила о нем восторженно! Ну, это понятно... А сама дача была небольшая... двухэтажная. Внизу — спальня, столовая, узкий коридор, выходящий к пруду... В спальне — железная кровать под дешевым одеялом, два стула, на стене — простенькое бра да полка с книгами. На полке мне запомнились несколько красных томиков Ленина и том сочинений Некрасова. В столовой — обычный обеденный стол, невзрачный буфет, венские стулья. Коридорчик — темный, без окон, с потолка свисала голая лампочка, а прямо перед ней — на стене — окантованная фотография Ленина. Точь в точь — современная икона. Зато наверно — одна единственная комната, вся обитая красным плюшем, красного дерева стол, стулья, горка... Прямо люксовский номер какой-нибудь провинциальной гостиницы! И — множество диванов, оттоманок... рядом с каждой — пара комнатных туфель. Говорят, никогда двух ночей подряд на одном месте спать не ложился. И бессонницей мучился, вставал по ночам, бродил... В этой парадной комнате, между прочим, жил Мао-Цзе-дун, когда приезжал в Москву... Да... великая дружба... Помню, я долго был под впечатлением этой экскурсии. Что был за человек? Воплощение мещанства, со всеми его пороками, взобравшееся на самую вершину невиданной власти? Или, может, и вправду — великая личность?... Позже копался я как-то в своих архивных записках — попаласть страничка с давним моим таджикским переводом. Стихотворение было по содержанию, да и по форме — почти официальный документ. Ну, вы знаете... К событию. И, представьте, с правкой Самого! Да, да, самого Хозяина... Уж не помню толком, как это вышло, но только потому, наверное, я эту страничку сохранил. Было там, среди прочих, две строки, рифмовавшиеся очень свежо: «человек»

и «навек». Синим карандашом слово «навек» было зачеркнуто. И написано сверху

«НАВЕЧНО»...

Собеседник мой глянул на меня искоса.

И улыбнулся одними глазами.

## *Кто это написал...*

Гафуру Гуляму поручили зачитать доклад на партсобрании Союза писателей. Он вышел, начал зачитывать врученный ему текст, едва одолел первый абзац — доклад был написан и впрямь немыслимо дубовым канцелярским языком — и, разозлившись, сказал сидевшему в первом ряду молодому поэту, секретарю комсомольской ячейки Союза:

— Э-э, не могу я это читать, я старый человек!.. Иди, читай ты...

Тот с готовностью занял его место на трибуне, принялся за второй абзац, но дело у него пошло еще хуже. Тогда Гафур вскочил, окончательно разъяренный, выхватил у него текст:

— Хватит! Кто это написал — тот пусть и читает!

## *Учительница*

— Знаете, не хочу хвастаться — у нас в школе сложился прекрасный педагогический коллектив! Прекрасный! И директор... живем, можно сказать, душа в душу. Вот, говорят, в наших школах такого не бывает... бывает, бывает, представьте себе! Конечно, ученички попадают... и родители... Знаете, у нас во втором А классным руководителем — чудная женщина, между прочим, генеральская жена, замечательный педагог! И так на этих сопляков выкладывается! Я уж ей говорила: Анна Петровна, это вы слишком! Слишком... Ну, у

нее своих детей нет, времени, знаете ли, хватает, вот она и... У нее там один мальчишка в классе — ходил в школу через пятое на десятое, уроков — ну совершенно не учит, дерзит; мать у него не то вагоновожатая в трампарке, не то кондуктор, отец тоже что-то в этом роде... И стала моя Анна Петровна к ним домой ходить, просто вытаскивать мальчишку. И, представляете, однажды этот паршивец является в школу и заявляет на переменке:

— И чего она к нам все ходит?.. Денег, что ли ждет?

Нет, представляете, какой кошмар? Конне-ешно, это он не сам придумал, это родительские слова! Мать, небось, высказывалась... Но какой кошмар!.. Ей, не кому-нибудь, а ей, генеральской жене, нужны какие-то их деньги... Ужас!

## В Карабахе

Первые месяцы карабахской трагедии. Притеснения азербайджанских властей, террор, блокада, поджоги, обстрелы, убитые, раненые, беженцы. Гнев, ощущение полной безнадежности — и зыбкая вера в помощь сверху, извне.

Действительно: приезжает московская комиссия во главе с одним из секретарей ЦК КПСС. Размещается в здании обкома, в центре Степанакерта. Перед зданием, как положено, просторная площадь: вскоре она заполняется плотной массой людей. Толпа гудит, выплескивая фонтаны эмоций, но постепенно в общем шуме возникает некая упорядоченность: она воплощается, наконец, в энергичной черноволосой женщине с мегафоном в руках. С несколькими спутниками она поднимается на трибуну, оставшуюся от былых парадных мероприятий. Толпа стихает, и женщина произносит краткую речь. Речь обращена, собственно, не к толпе, а как бы от ее имени — к невидимой московской комиссии, к секретарю ЦК, укрывшемуся за дверями на втором этаже. Она призывает московского посланца выйти на балкон и поговорить с народом, выслушать его просьбы, но главное — правду о том, что здесь происходит.

Толпа встречает речь шумным одобрением.

Здание обкома остается безмолвным. Окна его и двери глядят на площадь безучастно и слепо.

Женщина и ее спутники берутся за руки и, выкрикнув что-то по-армянски, начинают раскачиваться, ритмично повторяя два слова. Огромная толпа следует их примеру. Площадь, как черное озеро под ветром, ходит волнами, вправо, влево, вправо, влево, и громовой хор выкрикивает: «Горбачев! Перестройка! Горбачев! Перестройка!»

Это продолжается долго. Кажется, этому не будет конца.

Но здание обкома так же молчаливо и равнодушно. Балкон пуст, дверь плотно задраена. Что там делает секретарь ЦК? Сам ли прячется, опасаясь за свою драгоценную жизнь, или охрана, боясь ответственности, его не выпускает?..

Толпа, однако, продолжает раскачиваться и скандировать.

Едва гром огромного хора слабеет, женщина на трибуне подбрасывает через мегафон те же лозунги, словно охапки топлива в чудовищный костер звуков.

Густеют сумерки. Откуда-то появляется прожектор. Луч его бродит по толпе, по трибуне, по стенам обкома. Обком так же мертво молчит, только окна его иногда вспыхивают под лучом, как остановившиеся глаза.

Так продолжается восемь, десять, двенадцать часов. Опустилась ночь. Но толпа не сдается. С площади не ушел ни один человек.

Обком молчит.

Наконец, женщина с мегафоном делает знак — хочет говорить.

Толпа стихает. Женщина произносит несколько армянских фраз.

Наступает напряженная, страшная тишина.

Женщина взмахивает рукой. И все тысячи людей разом, как один — опускаются на колени!..

Кажется, это зрелище невозможно вынести.

Но секретарь ЦК так на балкон и не выходит.

## Из блокады

— Я бы его в лицо и теперь узнал. Хотя уж десять лет прошло...

А и постояли мы за одним столиком всего часа полтора. И глаза залили порядком. С того он и разговорился!.. Ага. В пивной было. Взял я три кружки, подошел, а он уж вторую пьет, одна пустая стоит. Свободно? говорю. А как же! отвечает. Присоединяйся!.. Девятого мая было. Ага. Воевал? говорит. Я ему в тон: А как же!.. На каком фронте? На первом Белорусском, говорю. Да ну! И я... Так и разговорились. Это, знаете, когда соседи по фронту встретятся, разговор сам собой пойдет. Одно за другое, дорожки наши фронтовые повспоминали, города да села... А ты где, спрашиваю, начинал? Начинал-то, говорит... и осекся. Но, думаю, не хочешь — не говори. Твое дело. Взяли еще пивка, еще. Потом он поллитру из кармана вытащил. Давай? говорит. Давай! говорю. В общем, хорошо тяпнули. Тут он поглядел на меня, тяжело так: «Где начинал, спрашиваешь?» Я плечами пожал: мне, дескать, все одно, где ты начинал... А он: «Раз уж мы с тобой выпили так душевно... И лицо твое мне глянется... Никому досель не рассказывал — а тебе, земляк, скажу. Первому!» Я все молчу, жду. А он и давай выкладывать.

«Я, говорит, под Ленинградом начинал. В аккурат перед блокадой там оказался. Позиции на Средней Рогатке мы держали, может, знаешь? Ну. Где мясокомбинат был. Комбинат этот самый у немцев прямо на глазах демонтировали. Там за нами управление стояло, этажей шесть, что ли, инженера да рабочие жили, что на демонтаже старались. Так если с пятого-шестого глянуть — немец как на ладони. Там со мной, между прочим, случай был. Послали меня за чем-то как раз на пятый этаж, вхожу, значит, в комнату... и аккурат в этот самый миг снаряд в окно влетает!.. Не поверишь — окаменел я. Стою — и двинуться не могу. Шлепнулся снаряд на пол, завертелся волчком, а у меня в голове только одно: «счас ахнет!» Нет... повертелся — и затих. Так и не разорвался. Видно, не судьба мне была, да!.. Ну, про это долго рас-

сказывать. Я до войны-то шоферил уж, вот мне потом, зимой, можно сказать, и пофартило: попал в шофера на Ладугу. Грузы возить туда-сюда. «Дорога жизни», слышал, небось?.. Ну вот. И в общем везло мне на той Ладуге. Ни разу, чтоб серьезно, не задело. Однажды, уже в феврале сорок второго — а это, знаешь, что за месяц был? Хлеба по карточкам — сто двадцать пять грамм, да какого — чистая глина! Двадцать пять — тридцать тысяч в день от голода мрут... Ну, в феврале, значит, и вызывают к начальству: груз повезешь и сопровождающего. Есть, говорю. Погрузили в кузов ящиков десять картонных, и сопровождающий туда же, хмырь какой-то. Я ему — может, в кабине поедешь? Нет, говорит, приказано с грузом. Ну, ладно, думаю, хочешь коченеть — коченей на здоровье. Поехали. И уж близко к другому берегу немецкий летчик меня засек. Как он, гадюка, углядел — поземка, вроде, мела. Я свилую, как могу, а он за мной, а он за мной — ну, прямо охотится! И, наконец, ка-ак жажнет!.. Меня на руль швырнуло, сознание потерял, и у машины мотор, конечно, заглох. Оклебался малость, вылез из кабины — мать честная! Воронка прямо рядом, кузов весь покорежило. Заглянул — сопровождающий мертвый, ящики все раскиданы, картон порванный. Что там такое было, думаю, неужто боеприпасы — нет, рвануло бы... Влез, расковырял — мамочка родная! Сливочное: масло...»

Я слушал его внимательно, даже интересно стало. Но тут мне показалось: — что-то я пропустил. Выпили ж все-таки как следует.

— Постой! — говорю. — Так это вы в блокаду ехали — или из блокады?

— О чем же я тебе и толкую — ясно, из блокады!.. — он помолчал, словно подумать мне давая, а лицо у самого темное-темное. — Слушай, земляк, я и теперь дивлюсь: до чего тогда испугался. Ведь, думаю, если они узнают, что я это масло видел — не жить мне! Не жить... И, поверишь, все я там бросил, и пешком, пешком по льду... к берегу... Наплел, наплел... Немец тогда Ладугу сильно бомбил. Поверили. В общем, попал я к вам на Белорусский...

Он замолк, а я даже протрезвел от его рассказа. Это ж надо. Из блокады!..

## Братья и сестры писатели

— Оказывается, у нас в городе сто восемьдесят зарегистрированных писателей!.. Я, конечно, многих не знаю, есть хорошие люди, и пишут неплохо, можно читать. Ну некоторые... Я в ихнем Доме бывал; отдыхаю — беру в отпуск пуховку и отдыхаю. Как-то приехал, со мной за столом человек сидит, пожилой, сильно за шестьдесят. Беседуем, про то, про се. Я, говорит, всю жизнь пишу, полный диван написал. Что же это, думаю, пишет — и в диван пихает? Это я, видно, тогда в первый раз там был. Потом узнал: диван — собрание сочинений... Ну, ладно. Смотрю, он все в город ездит. Как-то приехал — довольный:

— Мой пьеса диплом отметили!

Поел, откинулся на стуле, сидит, кейфует.

— Я, — говорит, — еще пьеса пишу, весне кончаю. Тема современный, ну — матерьяле античный мифологий. Отсы и дети!.. Очень мале действующий лиц: отец... сын... положительный ангел, отрицательный ангел... Все! — зажмурился от удовольствия. — Инте-ресно...

В другой раз приезжаю — ходит по дому такая маленькая женщина, вроде девочки, хотя присмотришься — ей уж под пятьдесят. Разговорились.

— Я, эта, рассказы пишу. Так мне хорошо рассказы получается! Каждый год рассказ пишу. Одинадцать лет пишу — уже одинадцать рассказы написала! Такой маленьки, красеви... Издательство художественной литературы у нас знайти?.. Они мой рассказы четыре раз потеряли, пятый раз — нашли, издавать будет!.. А сичас повесть пишу. Ой, так мне плохо повесть получается!.. Когда рассказ пишу, такие мне красеви слова приходит... А повесть — ни получается. По отдельно у мне все есть: любовь — есть, эта — как по-русски... ревность есть, забота партии — есть... по отдельно все есть, а вместе — ни получается...

Такие писатели; я узнавал — зарегистрированные!

## Письма

В четыре года девочка эта, дитя весьма интеллигентной гуманитарной семьи, научилась читать. В пять она уже писала свободно — и выдумала себе игру: сочинять письма. Письма, правда, были довольно однообразные: «Дедушка, я тебя очень люблю. Купи мне билет в театр». Или: «Бабушка, я тебя очень люблю. Купи мне шоколад». Однажды ей вспомнилось, что ее северокавказский дед прислал им в Москву посылку, где, среди прочего, была и жареная курица. Она и ему написала: «Деда, я тебя очень люблю. Купи мне курицу». Северокавказского деда называли в семье «профессор по национальности». Он и вправду был профессор-медик, но особым умом не отличался, а по части чувства юмора было у него и вовсе туговато. Письмо он получил — и тут же позвонил в Москву. «У вас, что, ребенок там голодает?» — спрашивает он с возмущением. Еле-еле его успокоили — объяснили, что это девочка так играет, а с рационом у нее все в порядке. Но дочке мать тут же устроила проработку:

— Это что за дурацкая игра — писать всем письма с разными просьбами? Тебе, что, чего-нибудь нехватает?.. Вон до чего ты дедушку довела! Чтоб больше этих просьб не было, поняла?!..

— Поняла, — сказала девочка, потупясь.

И в тот же день написала северокавказскому деду еще одно письмо: «Дедушка, я тебя очень люблю. Приезжай, я тебе куплю курицу».

## Парторг

Его назначили к нам в университет парторгом ЦК году в пятидесятом. Перед тем сняли ректора, а партбюро разогнали — за рабское послушание этому самому ректору. Последним актом послушания было ходатайство в прокуратуру за

одного доцента, пойманного с поличным при растлении малолетней. Партбюро охарактеризовало его как достойного коммуниста и образцового воспитателя подрастающего поколения.

Новый парторг был раньше партийным секретарем Политехнического, где преподавал политэкономю. Мы, тогдашние студенты, навели справки у ребят-политехников. Они очень горевали, что его от них забирают: мужик, по их словам, что надо — ненавидит профформу и глядит в корень!..

Пришли к нему как-то трое со стройфака. Защитили только что дипломные проекты, явились в отдел кадров за дипломами — не тут-то было. Кадровик обнаружил: школьные аттестаты у них — поддельные...

— Ну, поддельные, — говорили парни. — Пришли с фронта, четыре года потеряли, у всех по девять классов... Ну, купили аттестаты, честно говорим — купили.

Но мы ж пять лет отучились, специалистами стали, так? Отличники! Кому какая разница, что у нас там были за аттестаты?!

— Какая разница! — сердито передразнил парторг. — Тоже мне — фальшивомонетчики!

Они взмолились:

— Алексей Алексич, какие фальшивомонетчики?!..

— Ладно, — сказал парторг. — Скажите лучше, что с вами делать; против подделки-то не попрешь!..

Они понурились.

Парторг, помолчал, постукивая указательным пальцем по столу, — была у него такая привычка, видно, курить бросил. Потом взял телефонную трубку, набрал номер:

— Строительный техникум?.. Директора!.. Петр Михалыч, ты? Я, я. Слушай, к тебе просьба. Ты уж не откажи, за мной не заржавеет... Придут к тебе три моих орла с пятого курса стройфака, с зачетками и с дипломными проектами, так ты их оформи в техникум, выдай свои зачетки, вели, чтоб за пару дней перезачли им предметы, а на третий — защиты им организуешь... И выдашь свидетельства об окончании. Лады? Что? Да после объясню... Ну, будь здоров! — положил трубку, повернулся к парням: — Все поняли?

Пять дней спустя они действительно принесли свидетельства об окончании техникума, и кадровик, как ни кипятился, вынужден был сдаться.

Некоторое время спустя мы и сами убедились, каков наш новый парторг. Пришли мы к нему по поводу сатирической стенной газеты, которую выпускали: кто-то и за что-то не разрешал ее вывесить. У него уже сидел секретарь комитета комсомола. Мы тоже уселись. И тут в кабинет ворвалась девица. Я ее знал понаслышке. Была она с пятого курса стройфака, все пять лет имела связь с однокурсником, но родители не разрешали ему жениться ввиду неподходящей национальности невесты. Он, конечно, все это время обещал, что начаает на запреты, только надо подождать, а тут — пятый курс, распределение, и парень объявляет, что нет, мол, против воли родителей не пойдет. С тем от нее и ушел. Она за ним бегала, скандалила, рыдала во всех коридорах — шумная была история. В кабинет девица тоже ворвалась с готовыми слезами на глазах и стала истерически выкладывать все обстоятельства драмы. Парторг слушал молча, с непроницаемым видом. Когда она вроде бы кончила, он спросил:

— Ну, и чего ты от нас хочешь?

Она закричала со всхлипом:

— Чтоб его мне вернули!!.. Чтоб вернули... а то...

— А то — что? — холодно спросил парторг.

— А то... сейчас... сейчас горло себе перережу!

— Да-а? — сказал он тем же тоном. — Ну, давай, режь... давай, давай, а мы поглядим...

И не успели мы глазом моргнуть — она выхватила из кармашка бритвенное лезвие и полоснула себя по горлу. То есть как полоснула: едва коснулась... но кровь сразу показалась. Мы вскочили в растерянности, а парторг так спокойненько, будто все знал заранее, говорит комсомольскому секретарю:

— Слушай, там у тебя в комсомоле бинтика не найдется?.. Принеси, будь добрый, перевяжи девушку...

Девица этим, видно, вконец была уничтожена. Осела на пол, как куль, и зарыдала в голос. Я, помню, подумал: девка, конечно, дура душой, а все же как-то он ее безжалостно... мог бы по-другому...

Через неделю слышу: у нее свадьба. С тем самым парнем. И все это — парторг!

Ну, думаю, и мужик! Наш человек!..

Осенью университет вывезли на хлопок. Разместили факультеты по колхозам. Парторг поехал начальником штаба. Жилье выколотили для всех, какого в прошлые годы не видавали; продукты для кухонь выбивал нормальные и по норме; сводки уборки хлопка старался не превращать в казни египетские. Прошел месяц; ждут стипендию; ее нет. Поехал он в город. Говорят: банк денег не дает. Он — в банк. Ну нету, отвечают. Назавтра деньги он получил. Но — треть нужной суммы. Что тут делать? Выдать трети студентов? Так остальные взбунтуются, и справедливо. Вовсе пока не выдавать? Совесть не позволяет: ждут этой стипендии, как манны небесной, время послевоенное, голодное, кормят все же кое-как, а прикупить — помидор там, винограда — финансов нет...

Вызвал заведующую буфетом, велел получить со склада как можно больше товара — консервов, конфет, печений, папирос — и ехать с ним на хлопок. Прибыли сперва на геофак. Собрал ребят-пятикурсников:

— Вот что, — говорит, — сейчас я всем выдам стипендию, но с условием: обеспечьте, чтоб все денежки тут же истратили в буфете... Договорились?

Еще бы не договориться?.. Через час-полтора буфетного бума деньги у всех кончились, парторг забрал их у буфетчицы — и поехал в следующий колхоз, на физмат.

Так он своими пятью хлебами накормил восемь факультетов!

Кто б на такое решился? Тогда?.. Подсудное дело, страшное! Буфетчица — та всю дорогу дрожа дрожала, просто боялась перечить высокому начальству...

Студенты эту тайну, конечно, скоро узнали и с восторгом пересказывали.

После зимней сессии пронесся слух: его у нас забирают. В секретари горкома. Недельку спустя облегченно вздохнули — новый слух: отказался! Через месяц — снова разговоры: забирают все-таки. Секретарем обкома! И снова отбой: точно известно — опять отказался!

На том не кончилось: к лету ему предложили пост в ЦК. Можете себе представить: отказался опять!.. Этого наверху уже не простили.

Сперва прибыла в университет министерская комиссия. Копалась, копалась, но ушла вроде ни с чем. Следом — вторая комиссия, уже из ЦК. И — слух: обвиняют парторга в моральном разложении. Да не может быть!.. Может. Живет с сестрой жены...

Это была правда. Демобилизовавшись в сорок пятом, он вернулся домой — и нашел в кровати у жены другого мужа. Ушел, куда глаза глядят, в чем был. Но разыскала его на вокзале свояченица, уговорила хоть под крышей у нес ночевать, пока жилье не найдет. Немного погодя он на ней женился. Конечно, без ЗАГСа: жена развода не дала; да и пойдил он в суд — потерял бы партийный билет. Жил он в новой семье вполне открыто. Все о ней знали — и когда выбирали секретарем парторганизации, и когда назначали парторгом ЦК, и когда приглашали на работу в горком, обком, в тот же ЦК.

Зато теперь пригодилось. В начале учебного года разбирали его персональное дело. Еще повезло: дали строгача с занесением. И тут же убрали из университета.

Первое время о бывшем парторге вести еще доходили. Потом смолкли. Говорили, он вообще уехал из города.

Тогда, и многие годы потом я искренне считал его образцом партийного руководителя. Больше того — единственным таким настоящим руководителем, встреченным мною в жизни. Теперь думаю иначе. Этот парторг ЦК был, напротив, живым отрицанием системы, которую представлял. Почему же она его выдвигала? Да ведь люди такие и ей были необходимы — живая кровь, вливаемая в костенеющий механизм. И завлекала-то она его наверх, чтобы постепенно поглотить, развратить, растворить в себе. Когда же он этого не захотел, предпочтя остаться самим собой — тут-то система его и отшвырнула, и уничтожила.

## Генерал и свита

Когда нашли в затопленной шахте, извлекли и привели в относительный порядок картины Дрезденской галереи, решено было первым делом показать их командующему фронтом. В помещении какого-то замка устроили на скорую руку выставку. Гидом должен был выступить Леонид Волынский, один из тех, кто участвовал в спасении картин и впоследствии стал широко известен своей книгой об этом. Командующий, генерал армии Петров, прибыл с огромной генеральской свитой. Он вошел, следом втянулись в двери остальные; Волынский вытянулся, отдавая честь и рапортуя.

— Давай, лейтенант, показывай! — сказал Петров, и они пошли вдоль стен. К великому удивлению Волынского, командующий узнавал почти каждую картину еще до того, как лейтенант успевал открыть рот.

— Ага! — говорил он. — Рубенс... — он называл картину. — Ну да... ну да... — потом, не торопя, выслушивал объяснения лейтенанта.

Свита двигалась за ними кучно, как плотно сбившееся стадо, дружно глядя на стены. Осмотр был довольно долгий. Наконец, он завершился.

— Ну, лейтенант... — сказал командующий, — молодец! Спасибо! — он повернулся к свите и стал натягивать перчатки. — А вы, товарищи генералы... поняли, что вы сегодня видели?

— Так точно, товарищ командующий! — рявкнула свита хором. — Поняли!

Петров оглядел их чуть прищуренными глазами, которые казались маленькими на его широком, грубовато вылепленном лице; застегнул перчатки.

— Ни хрена вы не поняли! — сказал он и пошел к двери.

Свита двинулась следом.

## На путях

Опоздавший, выбившийся из графика пассажирский поезд дальнего следования стоит в поле, километрах в шестидесяти от Москвы. Стоит полчаса, час, два. Не

пускают. Все в вагоне изныли от ожидания, ехали без малого трое суток, приехали уже, вроде бы — и вот на тебе. Проводники открыли двери вагонов, кое-кто вылез на траву — благо, весна на дворе, зелень, теплый простор. А мимо проносятся на Москву без задержки пассажирские, товарняки, снова пассажирские... Их провожают завистливыми взглядами:

— Вот: еще три поезда пройдет — а там уж мы!..

— Откуда знаете?!..

— Да не знаю я — надеюсь...

— Не надейтесь, сейчас постели обратно выдавать будут!

А кто-то рядом, глядя на рассыпавшихся по насыпи у вагонов людей, говорит задумчиво:

— Хорошо хоть — не бомбят...

И все смеются.

## Хайр-опа

Сын мой поступил в Ташкентский университет; у меня была в Ташкенте долговременная работа; мы сняли квартиру. Хозяйка сдала ее на год, взяла все деньги вперед — и уехала. Месяца через два, глубокой осенью, она вернулась — и, не отдавая ни копейки, стала гнать нас из дому. Расписки с нее я, по интеллигентской благодушной глупости, не брал; как сказали соседи, такой трюк она проделывала не раз...

Квартиры в это время обычно уже не найти. Нам, однако, повезло. Чудом, после мучительных поисков, мы снова сняли комнату — в тихом переулке, в двух кварталах от магистрали, в одноэтажном домике. Домик принадлежал женщине лет семидесяти, сибирской татарке. Она еще работала как врач-терапевт в каком-то санатории за городом: надо помогать сыну, объяснила она — он живет с семьей отдельно и получает маленькую зарплату.

Знакомясь, я спросил об ее имени-отчестве.

— Зови меня Хайр-опа! — сказала она. — Я так привыкла!



У нее был типичный, чем-то очень приятный акцент; и открытая, очевидная доброта лица так же отличалась от деланной доброжелательности, как белый хлеб от черного.

Сын мой проводил день в университете. Я, если не бегал по редакциям или за продуктами (с ними, как всегда, было туго), работал дома. Хайр-опа у себя в санатории дежурила по суткам — через двое на третьи. Часто мы оказывались с ней дома вдвоем. Устав от машинки, я на какое-то время выходил на кухню — и тут же погружался в теплые домашние волны ее рассказов. Были они незатейливы, но прелесть их, как ни странно, и заключалась в предельной простоте — и неременной, убедительной назидательности. Просто так, к слову, ради самой истории — она никогда ничего не вспоминала: все у нее обращалось в притчу, оборачивалось правилом морали. Стоило мне, к примеру, обмолвиться, что люди добра не помнят — она тут же, бывало, встрепенется:

— Как это — добра не помнят!.. Не-ет. Неправильно говоришь. По-омняй! Я тебе правду скажу. Я со своими больными — как с родными. А как же. Но только выздоровит, уйдет — я и забыла. Их же тыщи — разве упомнишь? Встретят: «Здра-асьте, доктор!» Я вид сделаю, а сама вспомнить не могу... Что ты хочешь, я уже и старая!.. Вот один раз, после войны, мужиков моих ну нечем накормить стало; и пошла я на толкучку свое кожаное пальто продать. Одна вещь и была, муж по ордеру получил... Да. Стою, держу — никто не смотрит. Тут подходит один, глянул на меня, пощупал пальто — и цену хорошую дает. Я уж согласна, а он — нет, пойду, еще посмотрю... А люди подошли, смотрят тоже, прицениваются. Тот, первый-то, снова подходит, еще больше цену предлагает. Что, думаю, за чудак такой? Опять отдать хотела, да одна баба вцепилась — стой, говорит, я больше дам, я возьму! Прямо выдрала... А он стоит, смотрит, мне даже его жалко стало. Ну, разошелся народ, я уходить повернулась, вдруг меня за плечо трогают. Оглядываюсь: тот чудак. «Я, говорит, доктор, вас сразу узнал... вы меня вылечили!» А, говорю, как же... а сама — ни в зуб ногой. А он: «Пальто-то мне ни к чему, но вижу — вы стоите, продавать не умеете, дай, думаю, помогу...» Вот, а ты говоришь — добра не помнят. Ты сделай — и забудь! Забудь!

В другой раз я так же — между прочим — обмолвился, что вот, совершат люди подлость, и потом за этот счет распрекрасно живут, не в пример порядочному человеку... и никогда их никакое наказание не настигает. И опять она всполошилась:

— Что ты! Что ты!.. Наоборот! Очень даже наоборот!.. Да у нас же, в институте, где я работала, женщина была... врач-дерматолог. Молодая, красивая... волосы золотые... И решила себе кандидатскую сделать. Ну, сама-то, видать, не очень, так выбрала в помощь профессора. Пожилой, клиником у нас заведовал. И пошло у них, дальше — больше, роман закрутили, он семью бросил, она — мужа с сыном. На что уж наш директор... его, бывало, с места не стронешь... и он разозлился. Пришлось той докторше уйти. И что ты думаешь: через пять лет у него — инсульт! Даже парализовало... Утром-то она на службу, за профессором домработница ходит. И вот это, один раз, она из дому, да по дороге и вспомни: забыла чегой-то. Давай назад. Заходит — а домработница с профессором в постели!.. Так не поверишь: у нее — инфаркт! Тут же на месте и померла. И скорая не подоспела... Это тебе что — не наказанье? А?.. Не рой, не рой другому яму...

Она рассказывала и о себе. Отец ее был кузнец в деревне, сама она — старшей из семи детей. Пасла в малолетстве скот. После семилетки уехала в город, кончила медицинское училище, работала медсестрой; потом поступила на медицинский. Муж был партиец, хозяйственник, но из бессребреников, работяга. Сын родился у них поздний. Муж вернулся с фронта в середине войны инвалидом, сделали его директором кирпичного завода.

— Дурачок был, вроде меня! И полкирпичика себе не взял, а главное — другим воровать не позволял! Вот ему и припомнили...

— Что припомнили?

— Вот это самое: воровать не давал. Как-то там устроили — ему в командировку ехать. Нас в тот вечер на свадьбу позвали, со свадьбы ему — на поезд, я, конешно, провожать, а меня не пускают — и все: оставайся, пливши, сами

доберемся! Ну, уехали, а минут через десять и я потихонечку выскользнула. Приехала на вокзал. Там они! Мой Мажитов-то не пил, а они ему наливают, наливают — и как в кино немом — говорят чего-то, говорят... А дядьки с других столов косятся. И вдруг один из наших двоих достает из кармана толстую пачку денег, перегибается — и моему Мажитову в карман плаща сует! При всех! Меня аж толкнуло в сердце. Зачем это он так, думаю?... Вошла, увидели меня, хохочут, довольные... Ну, уехал Мажитов, я домой пошла, и приснилось мне ночью, что я его хороню. Хочешь — верь, хочешь — нет, мертвый он, в гробу, и я его хороню. А его в то самое время с поезда скинули! Под откос!.. Навели на него шпану те гады, нарочно навели!..

— И что... он погиб?..

— Нет, тогда — нет.. Побился сильно, застудился, пока его нашли... Выжил тогда в больнице. А — не надолго... Через год ушел. И остались мы с сыном...

Не-ет, она не жалуется. Боже сохрани. Не потому только, что это уж давние, перегоревшие горести: сетовать и мрачно смотреть на жизнь вообще не в ее характере. Может, она и сама не сознает, какой безнадежно тяжелой, исковерканной несчастьями и лишениями предстает ее жизнь в этих отрывочных рассказах; и беды свои вспоминает лишь в утешенье мне, чтоб меня отрезвить в хлопотах моих и заботах. Не то чтоб она такая уж оптимистка — просто очень добра, и потому во всем и всех видит прежде всего — хорошее. У нее, вспоминает она, всегда жильцы были — чудные люди! И до тебя... Вот один уж четыре года как уехал, а все еще — веришь? — посылки присылает...

Раз я пришел после мотанья по городу, часов около семи; сына еще не было, есть нечего, даже хлеб не куплен — я и забыл про это! — а в семь ближний магазин закрывается. Мчусь галопом, возвращаюсь с одним полубатоном — пустой магазин, кричу, ну, совершенно пустой! Ничегошеньки нету!..

Она делает строгое укоризненное лицо:

— Как же тебе не стыдно!.. Как это — ничего нету?.. Постное масло есть? Есть! Макароны есть? Есть! Ну и что,

что черные! Хлеб есть?.. А ты говоришь — ничего нету! А как мы в войну жили — забыл?..

— Хайар-опа! — говорю я. — Так то ж в войну!.. Война сколько была? Четыре года! А с тех пор сколько прошло? Тридцать два! Ну, почему ж мы должны жить, как в войну?!

— А-а! — возражает она. — Пустые слова не говори. Вот я когда, бывало, матери покойной жаловалась: того, мол, нету, это, мол, плохо, она мне одно отвечала: «Дочка, смотри ниже! Ниже смотри!» И правильно. Добрая у меня мать была — ох, добрая! — а потому по жизни — умная. Людей насквозь видела, вперед глядела. Вот я тебе расскажу. В мае сорок первого, за месяц, как войне начаться, собрались у меня гости. А мать у меня жила. Старенькая уж — лежала, спала в своей комнатке. Тут у нас стол накрыт, людей полно, а тут вдруг мать выходит: «Хайриниса, я только что сон видела! Слышишь, видела сон! Война будет, война...» Я — что за сон, мама? Что вы?.. А она только повторяет, и мне, и к каждому подходит: «Я сон видела! Ох... война будет...» Тут хозяин дома пришел, узбек, мы у него квартиру снимали. Плов стготовить обещался. А мать: «Хайриниса, ты его покорми, посади за стол...» Посажу, говорю, посажу, мама! «Нет, говорит, ты его сейчас покорми...» И говорит хозяину: «Никогда я не думала, что от этой дочки увижу хорошее... все на сынов надеялась... а вот поди ж ты...» Потом пришла соседка одна, у нее пятеро сыновей было, четверо — парни как парни, а один — непутевый, его как раз в тюрьму посадили, она по нем плакала — убивалась. Старушка моя ей и говорит: «Ты по нем, говорит, не плачь, ты по тем, по четверым плачь...» Соседка обиделась, отошла от нее. А мать все ковыляет вдоль стола да свое: «Война будет... слышите?... война будет...» Заплакала, и плохо ей стало. Пока я сбегала за кислородной подушкой да скорую вызвала — мать уж померла.

А пять лет спустя та соседка мне как-то говорит: «Хайри, твоя мать святая была! Все наперед чуяла... Сказала мне, ты, мол, о нем не плачь, ты об остальных плачь! — а я, дура, обиделась, выжила, думаю, старуха из ума: как же мне о нем не плакать, когда он в тюрьме, остальные на сво-

боду?!.. А видишь, четверо-то на фронт пошли, в первый год все погибли, а младший вышел раньше срока, попал на фронт в сорок четвертом. Героем стал, да и теперь живой, и пуля его не тронула, и почет ему, в райком вызывают, в исполком зовут... А она все знала наперед! Святая была, святая!» И правда, сынок, святая она была...

А я слушаю, смотрю, думаю: добрая ты моя хозяйшечка, милая старая Хайр-опа, и тебя ведь я тем же помяну когда-то...

Святая была. Святая.

## *Непринципиальный человек*

Академик В., распорядившись выборами в Академию наук по отделению математики, накануне очередного решающего дня, когда все было готово к голосованию и переменить что-либо — уже невозможно, узнал убийственную новость. Профессор Московского университета А., известный в мире математическими своими работами и баллотировавшийся теперь в члены-корреспонденты — этот самый профессор с сугубо русской фамилией оказался в действительности, по материнской линии, наполовину... евреем.

Академик В., был зоологический антисемит, мог через весь коридор академической поликлиники крикнуть коллеге: «Иван Иванович, ты уже всех жидов из своего института выгнал?..» Но профессора А. он до сей поры в столь неслыханном коварстве никак не подозревал. Почуй хоть что-нибудь, никогда бы он не допустил его кандидатуру до стадии голосования!.. Теперь, однако, было уже поздно.

Вне себя от ярости он забежал в кабинет академика-секретаря:

- Слушай, что это делается!..
- А что такое? — спросил академик-секретарь.
- Ну, с этим... с этим А.!
- А что такое с этим А.?
- Он же... он же... непринципиальный человек!

## *Машина*

Где-то уже подъезжая к Москве, остановились у колонки водопровода — помыть машину.

— Ну, что, худо тебе в машине?.. А еще хотел — электричкой!.. — сказал хозяин автомобиля.

Приятель-пассажир пробормотал, елозя тряпкой по кузову:

— По мне — электричка действительно лучше...

— Ай-яй-яй... не выпендривайся! Электричка ему лучше!

Приятель приостановил мытье.

— Слушай! — сказал он. — Вот... вот ты когда-нибудь видел, чтоб я мыл электричку?

## *Сильная медицина*

Утро. Две пожилых уборщицы в холле заштатной гостиницы. Кончили уборку, стоят, судачат.

—... съездили они в Сочи, вернулись, тут он и слег. Полтора месяца поболел — и все. Рак. Всех доцентов с ташми вызывали — сама знаешь, кака у нас в ташми медицина сильная! — всех доцентов приводили, никто ничево сделать не мог. А еще говорят — рак излечим! Где он излечим?.. Нет, столько его развелось за последнее время, столько раньше не было...

— Было, было! И раньше было... Только медицина така сильна не была — распознавать не могли...

## *Нарком Зверев*

Заём! Роковое слово каждой осени!..

Подписка проходит, как всеобщая мобилизация.

Подписываются все, кто имеет счастье или несчастье получать зарплату, пенсию, стипендию или самое номинальное пособие. Наименьшая сумма подписки —

ежемесячное получение; многие — к примеру, тысячи матерей-одиночек, живущих с ребенком на жалкие гроши — пытаются каждую осень с истериками, слезами, руганью, проклятьями выскандалить хоть малую скидку, хоть ничтожное послабление этого сверхналога, этих вырываемых из нищенского бюджета сумм; но, как правило, не добиваются ничего. И уходят с теми же проклятьями — в адрес невозможной жизни, или директора, или профкома — и наркома финансов Зверева, который, видно, и вправду озверел окончательно там, у себя наверху...

Хотя клясть столь публично решаются, конечно, не все, а только самые отчаянные, кому и впрямь уже нечего — ну, решительно нечего терять.

Толстые пачки облигаций скапливаются за годы в каждой комнате каждой коммунальной квартиры; но кое-кому — отдельным счастливым — сулят маленькие удачи в таблицах выигрышей.

Впрочем, за выигрышными таблицами кроются свои тайны; на них наткнулся едва ли не любой, подписывавшийся на заем, но ни разгадать, ни, тем паче, раскопать их — никому не под силу. Получаешь, бывало, в бухгалтерии облигации, номера по порядку идут, честь по чести, и вдруг — одного номера нет! Ну и бог с ним, думаешь, не все ли равно... Но спустя месяцы или годы проверяешь выигрышную таблицу и — ах, ты, черт — все номера идут у тебя подряд, нет одного-единственного — и он-то как раз выиграл. Крупно выиграл! Почему ж его нет?.. А-а, вспоминаешь... так его ж и не было в пачке... Неужели смухлевали в бухгалтерии? Да ну, какая ерунда — откуда у нас в бухгалтерии могли знать, какой номер выиграет?..

Не-ет, это не у нас в бухгалтерии...

И мистика этих тайн, и трепетная надежда все-таки крупно выиграть однажды, столь же скрываемая от трезвого рассудка, как запретная вера в Бога, окутывали эти плотные шелестящие листочки дымкой государственного волшебства; пока, наконец, по инициативе сормовских рабочих их окончательно не превратили в бумажный мусор.

Но то, о чем пойдет речь, случилось задолго до поры, когда сормовский пролетариат созрел для своей патриотической инициативы. Где-то в году пятидесятом в министерство финансов, на имя того самого, всесоюзно поминаемого Зверева, пришло письмо из Сибири. От колхозного комбайнера, Героя Социалистического Труда, знаменитого не только трудовыми успехами, но и тем, что в начале войны приобрел на свои сбережения для Красной армии не то танк, не то самолет, не то даже автомат новейшего производства — словом, весомое оружие массового уничтожения.

«Уважаемый министр, товарищ Зверев! — писал комбайнер. — С первого дня, как завели у нас заемы, подписуюсь на полные суммы и плачу наличными, не дожидаясь бухгалтерии. Сколько я переплатил, считать тут не буду, но за все годочки не выиграл ни рублика. Как же это так? Несправедливо, я так понимаю. Кто, может, подписался на десятку-другую, а выигрывает от пуза, раз за разом, а я за свои честные кровные не получил ни полушки. Надеюсь на вашу помощь как настоящего советского наркома что вы эту несправедливость восстановите в лучшем виде...»

В министерстве над письмом добродушно посмеялись, но, как положено, министру доложили. Министр тоже посмеялся, и тоже добродушно; и распорядился написать от его имени уважительный ответ, что, дескать, готовы, конечно, дорогой товарищ, войти в ваше положение, действительно выходит для вас обидно, но и вы нас поймите: помочь мы вам совершенно не можем, поскольку все это дело чистого случая и не зависит от нашей человеческой воли. Помощник, составивший письмо, чуть было не добавил «тут уж как бог пошлет», но вовремя удержался.

Зверев письмо подписал, отправили — и скоро об этой истории, за многими важными делами, напрочь забыли.

Но не надолго.

Три месяца спустя, через неделю-другую после очередного розыгрыша, знаменитый комбайнер приехал

другое письмо: «Уважаемый министр Зверев! Знал я, что обращусь к вам настоящему советскому наркому не зря. Просил помочь и спасибо помочь вашу получил. В последней таблице выиграла моя облигация сто тысяч рублей. Благодарность вам от меня и от всея моей семьи...»

В министерстве, конечно, схватились за головы.

Это же придумать надо такой оборот событий! Это какая же теперь слава пойдет! Какой поток писем хлынет!..

Умолчать, однако, не решились и снова доложили министру. Министр потемнел, как грозовая туча, и созвал узкое совещание. Мол, напортачили мы с вами, товарищи, недодумали!.. И после получасового обмена мнениями решено было ответить еще одним письмом.

«Дорогой товарищ Бесноватый! Поздравляем вас с большим выигрышем, хотя мы тут совершенно не при чем. Это просто свидетельство высшей справедливости нашего социалистического строя, воздающего каждому человеку по его труду и заслугам. Поэтому мы вам очень советуем использовать выигранные деньги по прямому назначению и приобрести еще на сто тысяч рублей облигации Государственного займа. С товарищеским приветом бывший нарком, ныне министр финансов Зверев».

На том переписка прекратилась. Ни ответа от комбайнера, ни потока аналогичных просьб, ни расходящихся от этой истории кругов народной молвы — не воследовало.

Еще раз рискнуть своими кровными, так счастливо вернувшимися к нему деньгами — комбайнер не захотел; с другой стороны, и прямо отказать в покупке займа сталинскому наркому, а в его лице всему родному государству — тоже было страшновато.

Вот он и затаился.

Нарком знал дело туго.

### *Презерватив для собаки*

— Собака моя лапу поранила. Собака у меня здоровенная — русская борзая. Смазал я йодом, завязал — только перевязка где ж там удержится? Шаг — она и слетела.

Попробовал напалечник одеть — куда там!.. Только на нос, как говорится... Хотя и на нос он ей все равно, что на ногу! Пошел в аптеку — авось, думаю, присмотрю что-нибудь. Пока шел, презервативы вспомнил — ну, думаю, в самый раз!.. Прихожу — слава богу, в ручном отделе мужик. Дай, говорю, десять штук!.. Нет, говорит, только две упаковочки в одни руки. Ладно, говорю, давай две, только чтобы побольше были! Он так на меня глянул исподлобья, вроде как с любопытством: у нас, говорит, безразмерные. И подаст. Большие? спрашиваю. Тут уж он не стерпел. Зачем тебе, говорит, такие большие? На маскарад, что ли, идешь?.. Да не мне это, говорю, собаке моей. Тут он прямо остолбенел. А ну, говорит, давай отсюда! Я говорю: да ты что, тебе не все равно кому? Вон отсюда, кричит, у нас людям нехватает! А я же все собачью лапу в мыслях держу... Я кричу, тебе такие же деньги плачу! А он: я тебе сам заплачу, только убирайся, пока цел! Ах, так, кричу, давай жалобную книгу. Счас, говорит, я тебе дам! Так дам, что не обрадуешься! Я счас протокол составляю, зачем они тебе понадобились! Подумаешь, говорю, зачем понадобились — псу на лапу надеть! Вижу, воздух из него, как из лопнутого шарика, выходит. И варежку разинул: на ла-апу, говорит? Тут только до меня дошло: ах, ты, говорю, паршивец, а ты что подумал!..

### *Скользящий график*

Просторная обувная мастерская. За перегородкой-прилавком — двое мастеров. Один, в глубине, дальше от перегородки — сидит и прилаживает каблук, второй, поближе, стоит, опершись на прилавок, и в прострации глядит в пространство. Входит клиент; он некоторое время ждет, чтобы на него обратили внимание, потом, не дождавшись, вежливо спрашивает, обращаясь к ближайшему мастеру:

— Простите, а где у вас приемщица?..

Мастер молчит, потом, не взглянув на клиента, поворачивается спиной, отходит к стене и начинаетковыряться в ящике с гвоздями.

Клиент несколько повышает голос:

— Молодой человек! Я же вас спрашиваю!.. Где приемщица?

Мастер никак не реагирует. Клиент, подрагивая лицом, заходит за прилавок, подходит к ближнему мастеру и говорит ему в спину, громко и раздраженно:

— Молодой человек! Вы, что, не слышите — я к вам обращаюсь?!..

Тут вдруг яростно пробуждается второй мастер:

— Ты что на него кричишь?! Он же глухонемой!

Клиент на мгновение теряется: в самом деле, неловко... Но тут же приходит в себя:

— А вы что — тоже глухонемой?..

— Я — в порядке!

— А если в порядке — слышите же, спрашиваю, что, не могли ответить?

— А ты ко мне обращался?

— Ах, так... — клиент закипает. — Ну, теперь я к вам обращаюсь: есть у вас приемщица?

— Нет у нас приемщицы!

— Как — нет?

— Так — нет!

— А кто принимает?

— Приемщик принимает!

— А где приемщик?

— Здесь приемщик!

— Где?..

— Вот.

— Где — вот?!

— Разуй глаза! Не видишь, что ли?.. Я приемщик!

— Ах, ты-и приемщик!.. Что ж ты молчал?

— Кто молчал? Я молчал? Я с тобой уже полчаса разговариваю!

— Так принимаешь, или нет?

— Было бы что принимать!

Клиент, сжав зубы, начинает вытаскивать из авоськи, которую держал в руках, пару мужских туфель. Каблуки, как пазло, наглухо застревают в ячейках, но он, нервничая, все же вырывает туфли из неволи и протягивает приемщику. Тот брезгливо, как раздавленную лягушку, берет одну из туфель и, морщась, осматривает.

— Ну и что? — говорит он наконец.

— Починить надо...

— Что тут чинить?

— Набойки поставить... и вообще...

— Держаться не будут.

— Почему не будут?.. Мне уже ставили...

— Ну и где?

— Что — где? Набойки? Сносились...

— Я спрашиваю, где ставили?

— В мастерской... на Строителей...

— Так надо было туда идти! Там они уже к ним привыкли...

— Слушайте, вы, что, издеваетесь?!

— Почему издеваюсь? У меня на это времени нет. У нас, между прочим, рабочий день кончился! — и мастер, вставая, сует туфли обратно клиенту и принимается отряхивать фартук.

Клиент блеет:

— Что значит — кончился?!..

— Обыкновенно! Кончился — значит кончился! Читать умеешь? Вон — объявление на дверях! Мы сегодня до четырех!

— К-какого черта!.. Что ж вы мне... что ж вы мне голову морочили!

— Нет, видали?.. Голову я ему морочу!.. У нас скользящий график, понял? Для вас же стараемся! Для вас!..

## Мужик

Огромный, тяжеловесный, седой, он стоит у окошка в сберкассе — платит за квартиру, телефон, свет — и громко,

на весь зал, беседует с кассиршей. Не столько даже беседует, сколько как бы исповедуется.

— Не-ет, я в этих бумажках ничего не кумекаю, не-е... Сами поглядите. На это дело у меня жена была, а я — мужик! За мизерное удовольствие считал — по бумажкам платить. Мое дело — гастроном! Она там за хлебом, за крупой, а я — в винный отдел... Раз послал ее, правда — приходит, говорит: разби-ила! Ах едрит твою за ногу, как это так — разбила?! Скажи — не покупала!.. Нет, с тех пор — ни-ни, сам ходил... А теперь вот — все сам. Нету жены. Под травкой лежит. Да-а...

### Чушка

Утро буднего дня. На магистральном шоссе, ведущем от Ташкента в сторону гор, близ остановки пригородного автобуса, стоит маленький ларек, где по идее должны торговать мясом. Но под пустыми крюками для товара виден только продавец — упитанный, румяный молодой узбек; он скучающе перебирает какие-то бумажки на прилавке; рядом с бумажками сиротливо кружится одинокий, разрезанный батон вареной колбасы.

Около ларька мается, зябко ежась, тощий человек неопределенного возраста, в поношенном пиджаке, с испитым лицом. Присмотревшись, понимаешь: это тоже узбек, но пьянство почти начисто съело в его лице характерные черты. Его не то мучит похмелье, не то живот подвело от голода. Он то и дело едва заметно косится на ларек, на продавца, не решаясь, должно быть, подойти. Наконец, мучительное состояние внутри пересиливает, он подходит к ларьку и негромко, без интонации, обращается к продавцу по-узбекски.

— Грамм сто колбасы — дайте...

— Чушка (свинья, свинина)... — говорит продавец, даже не подняв головы.

Покупатель чуть заметно перебирает плечами, выдерживает долгую паузу — и снова говорит тем же, без

выражения, тоном и так, словно он ничего еще не просил, а продавец не ответил:

— Грамм сто колбасы — дайте...

Продавец поднимает голову:

— Э-э, чушка! — говорит он раздраженно и опять принимается за свои бумажки. Покупатель снова замирает с отсутствующим видом, выдерживая паузу еще более долгую. И, наконец, повторяет все так же негромко и будто в первый раз:

— Грамм сто колбасы — дайте...

Продавец свирепеет:

— Чушка-а, э-э-э! — орет он, глядя выпученными глазами, и смахивает колбасный батон куда-то под прилавок.

Покупатель опускает глаза, с тем же видом покорной непричастности, поворачивается и идет прочь. Только плечи у него горбятся еще больше. И совсем жалко обвисает вконец отощавший пиджак.

### Детская комната

В обширной квартире, в доме, который жители областного центра именовали «дворянским гнездом», праздновался день рождения. Гости были почти сплошь из местной элиты. Затесалась лишь одна семья рангом пониже: хозяин квартиры пригласил сотрудника, усиленно помогавшего ему в составлении важных бумаг, ответственных отчетов и, наконец, статей в печатные органы. Многие гости пришли с детьми: день рождения справлялся двойной — самой хозяйки и ее дочери. Детей устроили в комнате за кухней, где накрыли отдельный стол. Комната за кухней в этой барской квартире вообще-то предназначалась домработнице; но домработницу подыскать не удалось. Празднество было в разгаре, разговаривали всё громче, пошли в ход более или менее вольные байки. И тут хозяин квартиры обнаружил в гостиной растерянно слоняющегося мальчугана лет девяти — сына того самого нужного сотрудника. Хозяин подошел, сказал ласково:

- Ну, милый, а ты почему здесь? Иди к ребятам!
- А куда? — почти шепотом спросил мальчик.
- Как куда! В детскую комнату...
- Мальчик вздрогнул, проглотил слюну.
- В детскую комнату?.. — переспросил он с испугом. — Это... это в милиции, что ли?..

## *Дорогой*

В одном из душанбинских районов, на улице, где проживал известный таджикский поэт, погасло электричество: повредилась линия передач. Вызвали аварийку, она не явилась. Вызвали снова — тот же результат. После недели сидения без света возмущенный поэт отправился в горисполком. Его принял сам председатель. Так и так, сказал поэт, неделю, дорогой, сидим в темноте, работать, понимаешь, невозможно...

— Конечно, дорогой, без электричества тяжело, — вздохнул председатель. — Но скажи, дорогой, как работал Фирдоуси? Тогда же электричества вообще не было!

— Дорогой! — сказал поэт. — Тогда горисполкома тоже не было!

## *Толубая мечта*

Ленинградский мой приятель, разменяв после развода жилплощадь, получил комнату в коммуналке. Коммуналка была обширная, с длинной, уставленной столиками кухней. Приятель переехал днем, к ночи кое-как разобрал скарб. Спалось на новом месте плохо. В пять утра он уже окончательно проснулся. Возиться и, стало быть, шуметь — рано; на глаза ему попались сапожная щетка и крем. Тут же вспомнилось: бывший владелец комнаты показывал за кухней ничейное помещенье, куда выходила дверь еще

одной, соседней квартиры. Может, пойти туда, туфли почистить?.. Приятель, человек экспедиционный и далеко не денди, этому занятию предавался крайне редко. Но делать-то пока все равно нечего. И он отправился за кухню. В ничейной комнатке стояла такая же, очевидно, ничейная табуретка. Приятель поставил на нее туфли, намазал кремом, полюбовался на плоды рук своих — и решил дать крему впитаться, прежде чем наводить блеск.

Но тут за дверью соседней квартиры послышались шаркающие шаги, и на пороге появился распухший мужик в трусах и скособоченной майке.

— Ты — кто?.. — спросил он.

— Я? Сосед! — сказал приятель и кивнул на свою дверь.

— Но-нов... Новый, что ль? Шо-то я тебя... не видел...

— Вчера переехал, — сказал приятель.

— А-а... ну — тада... — мужик чесанул волосатую грудь пятерней и почти взвыл: — У-у-ух!..

— Ты чего?

— Му-уторно! У-у... Перебрал вчера...

— Воды выпей!

— Н-не... не принимаю...

— Опохмелись!

— Н-нечем...

Приятель вспомнил поллитровку, недопитую у него водителем, который перевозил вещи.

— погоди! — сказал он. — У меня есть малость, сейчас принесу...

— М-мужи-ик!.. — ликующе взвыл сосед вдогонку.

Увидев бутылку и вправду, он аж затрясся, схватил обеими руками, приостановился на мгновение: «А сам?» — но тут же присосался, застыл с прислушивающимся видом; наконец, лицо его приняло выражение подступающего блаженства.

— Н-ну, мужи-ик!.. — Сказал он. — В-век не забуду!.. Молоток ты... молоток! Ты кто... геолох? Не?.. А.. ар.. археолог... Понял, понял... а я... в органах работаю... Оперативник я! Оперативник... Слушай, мужик... я сразу почувял — ты мне глянесья! Не то что ети... мои клиенты...



— А кто твои клиенты? Уголовники, что ль?

Сосед весь сморщился.

— Ты чо! Каки уголовники... да вся эта шобла... интеллигенция... Тьфу! Подумать тошно... Нет, слышь... — голос его вдруг стал серьезным и почти проникновенным. — Слышь, у меня... у мечта есть ...

— Голубая? — спросил приятель.

— Н-не! — сказал оперативник. Намека он не уловил. — Мечта... Слышь! Раз в жизни поймать настоящего шпиона...

## Победитель

Драка в вагоне метро. Собственно, даже не драка: пьяный лет сорока цеплялся то к одному, то к другому пассажиру, пока двое здоровых парней не схватили его за грудки, чтоб вытолкнуть из вагона прочь. Пьяный вроде и лыка не вязал, но сопротивлялся изрядно. На станцию его вытолкнули в последний момент перед тем, как захлопнулись двери. Он шлепнулся на перрон, проехался по гладким плитам. Поезд умчался. Перрон — дело было вечером — остался пуст, как степь. Пьяный встал на карачки, потом поднялся кое-как, оглядел все вокруг мутным взглядом и сказал, качаясь:

— Н-ну?.. Кто еще!..

## Пушкин

Их было две, таких заметных и странноватых личности в городе; один был особенно известен: длинные волосы, чуть курчавые, смуглое неправильное лицо. Мне он напоминал Айртонна из иллюстраций к «Детям капитана Гранта». Вообще же его обозначали кличкой «Пушкин». Он и впрямь чем-то походил на Пушкина — на том, видно, и свихнулся. Впрочем, это был тихий, услужливый сумасшедший. Он даже

работал дворником — опять-таки на улице Пушкина. Там он подметал тротуар перед кварталчиком одноэтажных домов, начинавшихся сразу за Горкомом. Все, кто знал его в лицо, знали и о его пунктике, и зачастую, когда он мирно мел свой тротуар, кто-нибудь останавливался и спрашивал вежливо:

— Скажите... вы — Пушкин?

Он переставал мести, с печальной улыбкой взглядывал на спрашивающего и говорил негромко:

— Да-а...

— И это вы написали... «К морю»?

— Я... конечно, я.

— А вы не могли бы... прочесть?

— Прочесть?.. — лицо его делалось серьезным, почти вдохновенным; он чуть заметно вздыхал, оставлял метлу — и принимался декламировать. Читал он прекрасно. К первым слушателям присоединялись новые, просили читать еще и еще, уже не розыгрыша ради, а чтобы послушать чтение. Когда толпа слишком разрасталась, появлялся милиционер.

Милиционер был второй знаменитостью. Обычно он стоял на посту в качестве регулировщика в самом начале Пушкинской, против Горкома, у Сквера Революции. Пожилой, очень толстый узбек этот славился своими непомерно громадными, лихо закрученными «буденновскими» усами — и своим неколебимым добродушием. Качество, не столь уж частое среди милиционеров. Девчонки-первокурсницы из университетского здания по соседству с его постом долгое время развлекались тем, что подойдя к нему, спрашивали дорогу ко все одной и той же ближней улице. Он их, конечно, запомнил, но всякий раз подробнее объяснял, как пройти. Был широко известен случай, когда он на повороте задержал машину командующего военным округом, чтобы пропустить «скорую помощь», после чего командующий вышел из машины и со словами «Так служить!» надел ему на руку свои именные часы. Командовал тогда округом генерал Петров. Тот, известный...

Милиционер, должно быть, жалел бедного сумасшедшего, который убирал участок по соседству с его постом — как

вообще принято жалеть отмеченного аллахом «дувану». Заметив вокруг него очередную толпу и нарастающий таким образом беспорядок, он подходил, оставив пост, несколько мгновений стоял около, покачивая головой, потом вдвигался в толпу, как ледокол, и говорил негромко, с отеческой укоризной:

— Пшкин! Народ не сабрай, да?..

## Последний эпос

Нет, место рождения подлинного эпоса — отнюдь не культурные центры. Рождался он, конечно, в самой глухой провинции. Где еще возможно такое простодушное величие, такая приверженность простым ценностям, такая нерассуждающая ярость, возносящая на вершины героики или комизма?.. Только здесь и в состоянии все это подняться над бюрократической иллюзорностью бытия — или иронической рефлексией конформистских умов; впрочем, последнее, как правило, так опускаются, что воспарить над ними особого труда уже не составляет.

Примеров тому множество, но сейчас мне вспоминаются мелкие по следствиям, зато значительные по внутреннему смыслу события литературной жизни нашего отдаленного областного города — с его единственным издательством, единственной газетой и единственным же, по счастью, госкомитетом по печати. Не говорю уже о единственном отделении Союза писателей из одиннадцати человек, подавляющее большинство которых служит либо в этом самом издательстве, либо в той же газете, либо, наконец, в госкомитете по печати. То есть сами пишут, сами включают в планы, сами публикуют и сами же печатают рецензии. «Узок был круг...», как давно сказано. Сейчас, впрочем, речь поначалу пойдет об исключении. Нет, боже упаси, не об исключении откуда-то. Всего лишь об исключении из правила, в том именно смысле, что герой происшествия занимался творчеством как раз у себя дома, поскольку, в

качестве восходящей областной звезды, выпустил в издательстве за четыре года три романа, решившись посему перейти на вольный хлеб.

Звездный час то продолжался, он создал еще один, четвертый роман как и первые три, сатирического направления, с екоторой, что теперь принято, долей фантастики; наке его сатиры явно возрастал, вызывая известные сложности в прохождении. Старейший писатель нашего города, не о в кулуарах, не то в закрытой рецензии, даже высказался ном плане, что сатирик малость зарвался, окрестив, наприер, совершенно невинный источник электрического освещения в некоем коридоре, забранный для безопасности в металлическую сетку, «лампочкой в наморднике». «Дае лампочка у него в наморднике!» — патетически восклицал старейший писатель. — «А ведь это, между прочим, ламочка Ильича...»

Автор, однако был человек бойцовского, эпически-богатырского характера, что, собственно, и сделало его героем настоящей истории; он дрался за свое детище, как лев. Между тем оразовалась странная ситуация. Рукопись романа, вкупе с ецензиями, контр-рецензиями автора и протоколом обсуждения, вдруг как бы исчезла.

В издательств ведал художественной литературой бывший сотрудник другого ведомства, вышедший по выслуге лет на пенсию. Е пенсии он сочинил большой роман о ловле иностраннн шпионов, за что немедля был принят в Союз писателей и занял свой издательский пост. Звали его Павел Иванович. лавился он очевидным для всех кривым ртом и куда менесочевидным знанием английского языка, которое никто вокут, за незнанием этого языка, проверить не мог; для убедительности, однако, добавлялось, что именно знанию анлийского Павел Иванович и был обязан трудовыми успехам на прежней работе.

Этому Павлу Иановичу и позвонил в одно прекрасное утро наш герой-сатрик.

— Слушай, — сизал он в трубку, — хочу взять рукопись ненадолго, может, го поправлю...

— Не могу, — сизал Павел Иванович.

— Чего не можешь-то?..

— Рукопись дать не могу...

— Эт-то почему? — спросил автор тихим, закипающим тоном.

— Нету!

— Чего нету?!..

— Рукописи...

— Как это — нету рукописи?.. Где она? А ну, говори!

— Да в Союзе писателей...

— Чего ради?

— Попроси-или...

— Ну, ла-адно! — сказал наш герой, положил трубку и тут же позвонил секретарю отделения Союза. Нет, сказал секретарь, ничего у нас нету... И не брали. Зачем? Обсуждение уже провели...

Автор снова позвонил Павлу Ивановичу:

— Ты какого же хрена врешь?

— То есть как это... ты что...

— То самое! Где рукопись?! Говори по-хорошему!

— Ну, хорошо... ну, ладно... ну, в обкоме она...

— Почему в обкоме?!

— Взяли посмотреть!..

— Опять врешь?!

— Да ты что!..

— У кого?

— Ну-у... сам знаешь...

— Знаю! — сказал автор, положил трубку и тут же, не раздумывая, позвонил в обком. Оттуда его заверили, что рукописи не запрашивали и даже не знают о ее существовании.

Тогда наш герой вышел в коридор, надел осеннее пальто, шляпу и снял со стены шпагу. Здесь необходимо добавить, что его бойцовский характер, как в истинном эпосе, проявлялся в области не только словесных дискуссий, но и физических действий. К числу нескольких видов спорта, которыми он занимался, относилось фехтование, чем и объясняется наличие шпаги у него на стене. Со шпагой в руках он вышел на улицу, сел в троллейбус и поехал в издательство. Там он поднялся на четвертый этаж и

распахнул дверь в отдел художественной литературы. При виде его со шпагой Павел Иванович выказал явные признаки страха, что, кстати, косвенно подтверждает его знание английского языка, ибо оно одно, в явном отсутствии личной храбрости, могло на прежней работе позволить ему дослужить до пенсии.

Автор выдернул шпагу из ножен.

— Ты... ты что? — дрожащим дискантом сказал Павел Иванович.

Автор, не отвечая, сделал шаг к письменному столу.

— Ну... ну... ты что? — снова пролепетал Павел Иванович, отшатываясь и поневоле падая в кресло.

— Где рукопись?! — рявкнул автор громовым голосом. Павлу Ивановичу показалось даже, что сверкнула молния.

— Я же сказал... в об-обкоме... — проблеял Павел Иванович.

— Врешь, гнида!!.. Где? Говори! Заколю-ю! — и автор направил острие несчастному Павлу Ивановичу прямо в сердце. Тот начал сползать с кресла под стол, пытаясь увернуться от смертельно сверкающего оружия, но шпага уперлась ему в подбородок. Скользить вниз больше было нельзя, а удержаться в полусползшем положении — крайне трудно.

— Скажу... скажу! — пискнул он.

— Ну-у?!

— В ор... в ор... ну... где я ра... работал...

— Что ж ты, гад ползучий, сразу не сознался? — с безграничным презрением произнес наш герой. Он убрал шпагу от посиневшего подбородка поверженного Павла Иваныча и вдел ее в ножны. Потом повернулся и вышел из комнаты.

Свидетелей у этой сцены не было. Автору, видно, и в голову не пришло, что она может стать достоянием гласности. Да его это и не волновало: он-то был на высоте! Другую сторону дела — возможность оказаться обвиненным в покушении на жизнь — он со своей позиции не увидел. Назавтра, однако, поползли красочные слухи. Говорили даже, что бедного Палываныча проткнули шпагой, как бабочку булавкой. Слухи, конечно, могли исходить лишь от

самого Палываныча. Вероятно, очухавшись, он возжаждал сатисфакции и стал готовить для нее почву; при этом, в свою очередь, он упустил из виду иной аспект: как он сам в сей истории выглядит. Впрочем, возможно, его это не волновало.

Герой наш снова набрал палыванычев номер:

— Ну, что, гнида? Это ты? Слухи, значит, распускаешь?.. Так учти: в следующий раз я тебя уже не просто попутать приду! Усек?..

— Да, да... — бодренько сказал в трубку Палываныч. — Вас понял... Извините, тут у меня люди...

Тем история и завершилась.

Ну, что? Разве не стоит она богатырской песни старых времен?.. Какие цельные характеры, какие мощные страсти!.. Нет, в самом деле: разве не чувствуете вы здесь могучего дыханья фольклорного поэтического океана?.. Тем паче, что вскорости иное сраженье потрясло то же здание — сраженье, не менее первого достойное быть запечатленным в богатырской повести — последнем, возможно, эпосе, рождающемся у нас на глазах.

На том же четвертом этаже того же здания помещалась и молодежная редакция издательства, а заведовал ею могучий круглолицый мужчина, эдакий предпенсионного возраста Алеша Попович (имя и фамилия, разумеется, другие), не в таком уж давнем прошлом видный комсомольский работник. В отличие от короля Генриха Четвертого, в комсомоле он провел свои и юные и зрелые годы, а последние семь или восемь лет трудился на поприще молодежной литературы, создавая и издавая комсомольские повести. Они появлялись и выходили в свет с пулеметной быстротой, дав таким образом городу и миру целое комсомольское собрание лучезарной прозы, как раз и написанной на языке и сюжетах комсомольского собрания, с заранее заготовленными речами персонажей.

Румяный лик Алеши Поповича являл яркое плакатное добродушие, улыбка была столь широкой, что напоминала гостеприимно распахнутую дверь или даже ворота. И туда опрометчиво входили многие, не подумав, каково будет

выбираться обратно. Выбраться же из его дружеских, панибратских объятий стоило довольно дорого. Помимо собственных сочинений он издавал по своей редакции лишь те, чьи авторы соглашались на его редактуру. А редактура — нелегально, конечно — обходилась ровно в половину авторского гонорара. Но так как иного пути в свет у авторов не было, все они рано или поздно на это соглашались. Единственная осечка вышла у Поповича с Викторием Паком. И немудрено.

Викторий Пак с юных лет задумал пробиться в литературу и начал со стихов для детей как области, наиболее общедоступной. Среди первых же его творений оказались строчки, которые его обессмертили:

Утки плавают везде,  
но особенно в воде...

Он и далее творил почти на уровне своего шедевра, выпустил несколько детских поэтических книг, стал на некоторое время заведующим детской редакцией издательства, был вскоре выгнан за полнейшую профнепригодность и тут же принят в госкомитет по печати на должность инспектора, курирующего это самое издательство. Понятно, что издаваться он стал еще гуще, а творческие его горизонты расширились. Возревновав к эпической славе Поповича, тут же написал он и молодежную повесть. Справедливости ради укажем: была она вполне на уровне творений самого мэтра. Но когда Викторий принес Поповичу плод своего прозаического вдохновения, тот и ему поставил известное условие.

Понятно, что Викторий возмутился: при их взаимном служебном раскладе постановка вопроса была сугубо некорректной. Попович, однако, и впрямь ощущал себя уже недосыгаемым мастером, да и упускать положенную дань не привык: в конце концов число выпускаемых книг было строго ограничено!.. Словом, когда Викторий от столь позорной для него сделки отказался, Попович организовал разгромную внутреннюю рецензию на его повесть, умудрившись сохранить имя Виктория неизвестным

рецензенту, а имя рецензента — неизвестным Викторию. Викторий не замедлил ответить контрударом. В качестве куратора издательства он написал и отправил по инстанциям жестокий разнос молодежной редакции. Инстанции прореагировали и тут же учинили Поповичу головомойку, окончившуюся, правда, ввиду его прошлых заслуг, сравнительно благополучно. Едва выйдя после этой процедуры, разгоряченный Попович, горя жаждой мести, помчался прямо к кабинету Пака. Кабинет, однако, был предусмотрительно заперт изнутри и даже забаррикадирован. Побесновавшись у двери, Попович удалился к себе, крикнув напоследок, что если он еще хоть раз увидит Пака «у нас наверху» — издательство было, как вы помните, на четвертом этаже, госкомитет же размещался на втором — если он, дескать, еще раз увидит эту вошь у себя в коридоре, то размажет ее по стене.

Угроза была нешуточная, учитывая не только богатырскую силу и пудовые кулаки Поповича, но и его общеизвестную болезненную возбудимость, обострявшуюся равно и от некоей доли алкоголя, и от любого расстройства. При этом он становился воистину опаснее самого Самсона с ослиной челюстью в руках. Так что Викторий на некоторое время затаился и, невзирая на служебные обязанности, добрый месяц на четвертый этаж не восходил. Всё было, между тем, тихо; опасность, казалось, миновала; и вот однажды Викторий решил, наконец, по какой-то надобности отправиться в издательство. Идя по коридору, он увидел дверь молодежной редакции распахнутой, но не придал этому должного значения. Когда же он миновал, было, эту дверь, оттуда раздался разъяренный рык Поповича. Викторий тут же повернул и, как заяц, помчался назад. Попович, как видно, чуть замешкался, выбираясь из кресла, но, выскочив, понесся следом, топая, как слон. Погоня миновала коридор, покатила по лестницам. Двери кабинетов распахивались; поскольку история распри всем была известна, каждый, кто успевал заметить хоть одного из двоих — зайца или охотника — тотчас соображал, в чем дело. Целые толпы бежали следом. То была картина эпической охоты. Викторий, благодаря своей относительной молодости,

успел вырваться вперед. Домчавшись до второго этажа, он прикинул, что своего кабинета достигнуть все же не успеет. Рядом оказалась открытая дверь в приемную председателя. Он юркнул туда и устремился в тоже открытый и пустой кабинет находящегося в отпуске зампреда. Но, увы, следом за ним ворвался туда и Попович; правда, Попович был уже, как медведь — вцепившимися собаками, обвешан пытавшимися остановить его людьми: опасались смертоубийства. Вереща от страха, Викторий прыгнул, пытаясь одним скачком преодолеть обширный письменный стол зампреда и таким образом оставить меж собою и Поповичем солидную государственную преграду. Прыжок не получился; Викторий распластался поперек стола, как вывернутое наизнанку распятие, обхватив стол обеими руками и выставив на обозрение свой тощий, обтянутый брюками зад. Поповича, между тем, уже, казалось, прочно удерживали: по три человека висело на каждой его руке, один уместился на спине, держа его за шею и стараясь хоть маленько придушить; человек пять вцепились в пиджак и брючины. Но комсомольский богатырь сделал последний мощный рывок. Протащив на себе всю людскую свору, он дотянулся — таки до своего врага. Правда, не руками: руки у него были как бы скованы. Дотянулся зубами. И, урча, вонзил их в тощий зад Виктория.

Раздался нечеловеческий вопль.

Поповича оттащили.

Три дня спустя у него начался стоматит.

## *В больнице*

Больница ночью. Прежде всего — запах, свойственный еще разве только старым спальным вагонам, удушливый и неистребимый запах какой-то перепревшей краски, когда кажется, что это благоухает сама квинтэссенция половых тряпок — запах, поднимающийся и пронизывающий всё и вся, едва закроют на ночь форточки, окна и двери. Стоны с

соседних кроватей и из коридора, сонное причитанье — и храп, храп! То вкрадчивый, только подбирающийся к своему торжеству, с легким присвистом закипающего чайника, то нарастающий, как вступившие духовые, то, наконец, громоподобный, слово это стадо слонов, отчаянно и неостановимо трубя, рвется сквозь затопляемые черной водой джунгли... И некуда деться, и встать нельзя, можно только манипулировать единственной подушкой, безнадежно пытаясь сотворить из нее две и закрыть оба уха и нос, зарыться в кровать, как зарываются в землю пехотинцы во время артобстрела или воздушной атаки, и, конечно, ничто не помогает, и храп гудит уже внутри тебя самого, от него не избавишься... если только, наконец, не посчастливится тебе и не накроет тебя прямым попаданием сна.

Утром, часов в шесть, поодиночке, по двое, огромная палата просыпается, осторожно здоровается, и, наконец, двое выздоравливающих, что лежат у окна, совершают ежедневный ритуал:

— Ну, что, дадим свет народу?

— Дадим!

И они отдергивают занавеси.

Вскоре приходит сестра с термометрами. «Кто будет мерить? Ты, Кискин?» Кискиным она называет Кошкина — у него парализованы ноги. «Ты, дедуля?..» Минут через десять она возвращается. «Мальчики, кому я давала термометры?.. Быстро! Так, а еще?.. Дедуля, тебе давала?»

— Нет! — говорит дедуля: он не то уже в маразме, не то еще в забыты.

— Давала, давала! — говорит его сосед справа. Сестра лезет старику подмышку и вытаскивает термометр.

— Говоришь, не давала! А это что?

— Это — градусник! — говорит дед.

С утра бывает еще и обход, но это процедура большей частью формальная, к ней так относятся и врачи, и больные. Никто ничего толком не знает, никто не назовет тебе всерьез предстоящих больничных сроков: в палате почти сплошь — тяжелые инсультники, что тут наперед скажешь... Теперь, впрочем, ничего еще, появился разумный, знающий

и внимательный доктор, невропатолог, а раньше палатным врачом был физиотерапевт, который обычно входил в двери и громко, весело зывал к лежачим:

— А ну, ребятки, встанем! Физзарядка — главное лечение!..

Обед в больнице — в два часа, или чуть раньше, где-то около часа вся палата начинает прислушиваться: вот вода полилась в буфетной, вот звякнуло что-то — не крышка ли бака?.. И, наконец, в самом деле разносится гулкий гром тарелок, потом и вправду крышка звенит, катится тележка, распаивается дверь — и буфетчица кричит на весь коридор:

— Наташа-а!.. Обед!

После обеда, вздремнув маленько, палата оживает. Начинаются разговоры, обмен информацией о самочувствии, байки, анекдоты:

— Так-то нога двигается, а встанешь — как ватная... Ну, ладно, доктор есть на это — разберется! Небо, говорят, валится — не бойсь, не свалится, люди есть на это, удержат...

— Это всё — от недопития! Выпить — и порядок!

— Точно! Но сперва посуду сдай... Операция «Хрусталь»!

— Слыхал ты, у одного аппарат нашли самогонный. Ну, судят. Да не гнал я, говорит, самогону!.. Как же не гнал, если аппарат есть!.. Ну, ладно, говорит, тогда судите меня за изнасилованье. А ты, мол, насильничал кого? Да нет, говорит, никого я не насильничал, но аппарат-то у мене есть...

— Хо-хо-хо... Слышь, а у меня знакомый был, пошел рыбки половить в озере одном. В закрытом. Ну, где запрещено. Посидел с удочкой, так себе, мелочи наловил, а потом ему два карпа попались — во-о такие! Только вытащил — слышит: моторка тарахтит. Значит, либо милиция, либо рыбнадзор. Он — раз: всю мелочь в воду, карпов на леску с двух сторон насадил, самих — в рукава пиджака, а пиджак, значит, на дерево повесил. И, сел, словно и не он. Подъезжает моторка-то, а в ней милиция, и в штатском кой-то, видать по всему — важный чин.

Чего, мол, делаешь — знаешь, что ловить запрещено? Знаю, мол! Я так сижу, в воду смотрю... Ах, так си-

дишь?!.. И давай шарить. Шарили, шарили, — нету ничего. А штатский-то в лодке остался — и вдруг как захохочет! Они ему: чего, мол, смеетесь? А он — наверх, наверх показывает — гляньте, мол! А на дереве-то пиджак висит, а рукава у пиджака так и ходят, так и ходят! Как живые!.. Милиционеры забрать всё хотели, и самого тоже, а чин говорит: оставьте ему всё за выдумку — насмешили-ил!.. Так он и остался с уловом!

— Х-хо!.. Повезло...

— Да...

Смолкают на мгновение, потом:

— Слышь-ка, ты сны видишь?

— Не-а!

— Я вижу. Цветные вижу. Сегодня собака приснилась. Немецкая овчарка. Глазищи — во, как блюдцы. Коричневые. И говорит человеческим голосом: «Помрешь ты тута»... И — девушка рядом засмеялась. Я оглянулся — нету девушки. Снова к собаке — и собаки нет...

## *В Загорске*

— На третьем курсе меня упорно из Московского университета вышибали. Что-то я не то сказал о нашей кафедре — в коридоре сказал, своим же ребятам, из группы. И — донесли. Что тут началось... еле-еле отбил. Верней, конечно, меня отбили, благо, я круглый отличник был и других грехов, кроме того нелестного высказывания, за мной не водилось. Но — отбили еле-еле!.. Уж думали, вот-вот в Афганистан загремлю. А в начале четвертого курса, осенью, педпрактика у нас была. Школа — в рабочем районе: за метро «Профсоюзная» еще остановки три автобусных. Достался мне пятый класс. Средний уровень — дремучий. Но ребята, ясно, разные: кто поглупее, кто поспособней. Зато учителя — почти все как один — куда хуже учеников! Главным-то образом — учительницы, офицерские жены. Предметы они разные вели, но мне казались все специалистками по строевой подготовке. А я-то у них опыт

должен был перенимать! Учиться!.. Меня к историчке прикрепили. И вот на уроке проверяет она домашнее задание. Три параграфа по учебнику. Кто выучил всё наизусть — пять. Кто не всё подряд по книжке шпарит — четыре, три... И двойку одну влепила. Парнишка учить наизусть не стал, может, и прочел-то разок, наскоро, но зато понял, о чем речь, пока другие зубрили, как попки. Параграфы были о каком-то восстании — Скилака, кажется: он точных дат не запомнил и сказал, что длилось оно долго: восставшие успели свои монеты выпустить... Да я бы ему за одно это пять поставил! А она — двойку... Ясно, кто у ней был на первом месте.

Но первую парту заселила она все-таки по другому признаку. Сидели там два самых больших в классе дурака, великовозрастные второгодники. От глупости и безделья они постоянно пытались учинить какую-нибудь заварушку, потому и держали их все время на виду. Я-то догадался просто их укрощать: в начале урока вызывал одного и говорил: «Покажи Китай!» Он весь урок ползал по карте в поисках Китая, а я спокойно занимался своим делом. Второй-то без напарника был сравнительно безопасен. На их месте я давно бы уж в свободное время нашел этот самый Китай, но у них, видно, хватило ума сообразить: найдешь ему Китай, так он еще чего другое захочет... Что ж, всю карту учить, что ли?!.

Так вот, из-за этих двух дураков я чуть было впрямь не вылетел из университета. И уже окончательно. Бог помиловал. Может, и правда Бог. Дело-то в Загорске было.

Кроме офицерш, работала в школе одна-единственная интеллигентная учительница — молоденькая, года два, как из института, милая такая, немножко с виду робкая. Литературу преподавала. С ней мы поладили. Как-то она мне говорит по поводу наших охломонов: хочу для них, дескать, внеклассные чтения начать, может, заинтересуются! Как вы думаете, что им почитать?.. Какие, говорю, внеклассные чтения, что вы!.. Ничем они не заинтересуются. Давайте лучше им экскурсию устроим... Куда? говорит. Я и ляпни: да в Загорск! И что вы думаете? Робкая-то робкая, а за три дня всё провернула: кто-то из родителей оказался не то из

туристского бюро, не то автобусного парка. Дали на воскресенье автобус, мы и поехали...

По дороге я им, конечно, и про Сергея Радонежского рассказывал, и про Троице-Сергиев посад соловьем разливался — слушали! И кушали, и бумажки в окно кидали — но слушали. Как приехали — предупреждаю: в церкви — шапки снимать... вести себя тихо — смотреть и слушать... И все прошло хорошо, без инцидентов, хотя, честно сказать, я здорово опасался: помнил, какую они мне в первый день обструкцию устроили. И вот идем мы к выходу: все, думаю, слава Богу... и тут вдруг прямо спиной чувствую: что-то случилось. Оборачиваюсь. Стоит такой малорослый рыжий поп с золотым крестом на груди, особенно плюгавый на фоне фланирующих здоровенных красавцев-семинаристов, и лысина у него волосатая просвечивает, как зад у обезьяны: стоит, весь красный, и орет: «Кто — отвечает — за этих — детей?!» И глаза учительницы моей вижу: насмерть перепуганные. Подхожу, говорю:

— В чем дело?

— Это ваши дети?! — кричит поп.

— Ну, — говорю, — дети, вообще-то не мои...

— Вы бросьте шутки шутить! Пройдемте!

Думаю: чего мне бояться?..

— Ладно, — говорю, — пройдемте. Куда?

— Вот сюда, за мной!

А справа от входа стоит такое зданьеце маленькое, избушка такая на курьих ножках. И надпись на двери: «Иностранный отдел Патриархии». Что за чушь, думаю, при чем здесь я и мой пятый класс? Заходим, и он объявляет:

— Вы привезли детей, которые оскорбляют чувства верующих!

— Как, — говорю, — оскорбляют?

— А вот так!

— Ну, все-таки, — говорю, — конкретно — как?

— А вот сейчас выясним!

Я говорю:

— Если они уже оскорбили, так что тут выяснять — скажите просто, что случилось. А если нужно выяснять, так, может, они пока еще не успели оскорбить?..

Он мне:

— Вы их откуда привезли?

— Из Москвы.

— Вы, что, учитель?

— Предположим.

— Нет, не «предположим»: вы на вопрос отвечайте!

— Сначала, — говорю, — я хочу узнать, что случилось. О чем вообще речь!

— Я вам сказал: оскорбили чувства верующих.

— Опять двадцать пять, — говорю. — Чем же оскорбили-то? Самим своим видом?..

— Я вас предупреждал, — кричит, — бросьте свои шуточки!.. Какая школа?

— А какая разница? Скажите, что произошло?

— Здесь вопросы я задаю!

— О-о, — говорю. — Так это уже допрос?

До того момента мне казалось, он не столько кипит по-настоящему, сколько себя подогревает. А тут, вижу, он закипает и впрямь.

— Сейчас, — кричит, — я вызову полковника! Он объяснит вам, вопрос или допрос! Он с вами разберется!

Ого, думаю, полковник — это уже серьезно. Знать бы еще, какого рода войск?..

— Ладно, — говорю, — я вижу — мне здесь делать нечего.

И направляюсь к двери. Поп начинает орать:

— Вася-а! Федя-а!..

Домик, надо вам сказать, из двух комнат состоял: первой, как бы приемной, где мы препирались, и другой, может, кабинета. И из этого кабинета, как из-под земли, появляются два откормленных семинариста, повыше меня ростом, мигом меня огибают и становятся у выходной двери. Явно готовые к рукопашной. Ну, не драться же! И перевес на их стороне, и, в случае чего, на меня же драку навесят... Возвращаюсь. И говорю:

— Я все-таки не понимаю. Вы тут кого-то обвиняете, а кого и в чем — не говорите... Объясните, в чем дело?

— Сейчас полковник придет, тогда и поговорим!

Действительно, полминуты спустя является полковник. Я почему-то сразу поверил, что он полковник, хоть и в



цивильном костюме. Второй такой фигуры я в жизни не встречал. Тоже, как и поп, рыжеватый, но с проседью, и, в отличие от попа, приземистого и растрепанно рыжего, какой-то аккуратно рыжий — несмотря на вислые, сужающиеся книзу бакены и хищный подвижный нос. По этому носу я его сразу узнал: Рейнеке-Лис с классической иллюстрации! Тот самый Рейнеке-Лис, который, в отличие от обычной лисы сказок и зоопарков, не просто плутоват и хитер, но — страшен. Страшен кроваво, по-настоящему: всех готов убить, зарезать, сожрать!

Полковник вошел и говорит:

— В чем дело?

— Вот, — говорит поп, указывая на меня. — Привез тут ораву хулиганов... а они оскорбляют чувства верующих!

— Та-ак... — говорит полковник. — Вас как зовут?

— Как меня зовут, — отвечаю, — это дело второе... Но вот этот гражданин... без конца повторяет общую фразу, и не объясняет, что в действительности произошло!

— Да? — говорит полковник. — Тогда вы сами скажите, что случилось!

Я говорю:

— По-моему, ничего!

— Ах, ничего?! — кричит поп. — А кто привез этих... школьничков... которые ходят по нашей территории и говорят: «Снять бы с попа крест да по голове его»? А?..

Ну, думаю, приехали... а сам так и слышу голоса наших двух дураков с первой парты, как они это произносят.

Полковник говорит:

— Значит, прямо здесь, на территории религиозной святыни, ваши дети оскорбляют священнослужителей? Значит, этому вы их учите?

— Я, — говорю, — этого не слышал.

— Конечно, вы не слышали! — говорит полковник. — Вы и не желали слышать. А в итоге ваши ученики творят безобразия на территории религиозной святыни!

Вот, думаю, заладил про святыню. И говорю:

— Как раз наоборот: я несколько раз предупреждал детей, чтобы вели себя тихо и вежливо... в церковь входя — шапки снимали...

— А-а! — говорит полковник неожиданно злобно, даже глаза сузив. — Вы еще и это им говорили?..

Тут я понимаю, что в еще худший просак попал: хоть он теперь по должности и долдонит про «святыню», но всю-то жизнь, небось, святыни эти с корнем выкорчевывал, и служителей заодно... Словом, куда ни кинь — всюду клин. А полковник говорит:

— Номер вашей школы?

— Не знаю! — отвечаю я совсем уже тупо, от расстройства.

— Не знаете? — говорит полковник. — Учитель, и не знаете номера школы, где вы работаете? Вы мне тут не играйте!

— Я не учитель, я практикант...

— А! — кричит поп с ногой злобного торжества. — Практикант! Очень хорошо! И, небось, из университета?!.. Все! Будем писать Гришину! Лично!

И тут, наконец, до меня доходит: дело вовсе не во мне, и не в моих дураках с первой парты, и не о том вообще, что произошло или не произошло... дело в том, что им прецедент нужен, повод, чтоб скандал какой-то устроить, в первый или очередной раз. И все это от меня уже не зависит, что бы я ни говорил и ни делал. И то, что надо мной прокатывается — задело меня просто заодно, по случаю, но тем не менее неизбежно и окончательно меня похоронит. А полковник говорит, со спокойным удовлетворением:

— Практикант Московского университета, значит... Очень хорошо. Напишем еще и Логунову... Как, вы сказали, вас зовут?

— Никак я вам не сказал, — отвечаю я тупо, с тихим отчаянием, потому что понимаю: и выкручиваться мне непонятно как, и драпать некуда и невозможно, и помощи неоткуда ждать... И уже словно издали слышу: поп с полковником договариваются, как из меня номер школы выкачать, а я-то знаю — за воротами стоит автобус, ждет меня, и сейчас они это сообразят, и мне — конец...

И тут спасает меня некая третья сила.

Пока шло наше препирательство с полковником, один из сторожевых семинаристов, не то Вася, не то Федя, куда-то

исчез, и вдруг появляется в дверях снова и кричит отчаянным голосом:

— Посол... республики Аргентина!

Что тут началось!.. Поп давай лихорадочно свои рыжие волосенки приглаживать, а полковник вдруг заметался по комнате, точно, как лис в клетке, махнул хвостом — клянусь, махнул! — и исчез... Как, куда, я уловить не успел, был и нету, хотя, провалиться мне на месте, если он из комнаты выбегал — нечистая сила, и только! Семинаристы кинулись на столе прибирать, и я, уже не замечаемый никем, беспрепятственно пошел к двери и вышел, едва не столкнувшись с посланцем Аргентины... Посол, небось, так и подумал: сволочь нахальная, кегебешник чортов, из молодых да ранний, прет — никого не видит...

А я, оказавшись на воле, действительно припустил с невероятной скоростью, ворвался в автобус, крикнул водиле: «Гони-и!!..» — и только когда он газанул, пошел по проходу, говоря: «И кто же это из вас такой умный — говорить этакое?» Учительница сказала торопливо:

— Ну, бог с ним, мы уже всё выяснили...

Но я был очень зол.

— Бог-то с ним, но все-таки — кто?.. Нас чудо от скандала спасло! Кто это ляпнул?.. Ладно уж, я его из автобуса на ходу выкидывать не буду... Это ж придумать такое: «Снять бы с попа крест да по голове его!»

И тут они закричали в три голоса — учительница и оба дурака с первой парты:

— «По голове» — не говорили! Честное слово, не говорили...

И такое искреннее, даже отчаянное раскаяние было в голосах обоих дураков, что я сразу поверил: не говорили. Соврал рыжий поп. Соврал...

## *Республика*

Республика была автономная. Так сказать, государство в государстве. В том смысле, что состояла частью другой республики, которая тоже была государством в государстве.

Это, однако, никак не влияло на ее государственные институты. Тут они все были налицо. Правда, лишь этим она и отличалась от обыкновенной области: там и здесь правил свой, всемогущий обком. Собственное ЦК создавать в Республике сочли все же неприличным, по причине малочисленности населения. Хотя территория тут весьма обширна. Не знаю уж, как у двух Голландий или там восемнадцати Люксембургов... но весьма обширна. Правда, и пустынна большей частью. Так там и была пустыня. С огромной рекой посреди.

Государственные институты венчал Верховный совет во главе с Председателем; но главное был — Совет Министров. Министров было множество несметное — столько же, сколько в том Государстве, где состояло государство, в котором, в свою очередь, состояла в качестве государства наша Республика. Плотность министров на душу населения была здесь высочайшей в мире. Остряки утверждали, что министром был каждый второй. А каждый первый — заместителем министра. Это, конечно, явное преувеличение. Но не следует забывать, что заместителей на каждого министра приходилось в действительности несколько, так что, возможно, остряки были не так уж далеки от истины. Правда, опять-таки, территория велика! И, может, верней было бы рассчитывать министров не на душу населения, а на квадратный метр. Тогда картина возникает совсем другая. Сколько, например, получилось бы министра автомобильного транспорта на квадратный километр бездорожья?.. Но и тут встает вопрос: а почему бездорожье измеряется квадратными километрами?.. Так что не будем углубляться.

Во всяком случае, факт, что слово «министр» было в Республике одним из самых употребительных. Одна приезжая балерина, поселившаяся здесь в незапамятные времена, создала в Республике национальную хореографию и посему официально именовалась «Главный балетмейстер Республики». Но слово «балетмейстер» местные жители органически не могли произнести. Поэтому ее так и называли — «балет-министр».

С легкой руки знаменитого американца такие республики часто величают «банановыми». По отношению к нашей это было бы несправедливо: большинство ее жителей за всю жизнь в глаза не видывало ни одного банана. Здесь, впрочем, не росли не только бананы, а и многое другое. В силу чрезвычайной засоленности почв. Интересно, что засоленность почв резко возрастала не только с возрастом Республики, но и в прямой зависимости от количества министров. Как это объяснить, я не знаю — вряд ли солевой обмен министра значительно выше, чем обычного человека — но факт остается фактом. Росли министерства, росла засоленность почв, росло количество съедобных растений, которые не росли, и продуктов, которые здесь раньше люди ели и видывали, то теперь давно забыли, каковы они на цвет, а тем более на вкус.

Если же исключить это обстоятельство, то жизнь здесь текла сравнительно спокойно и равномерно. Текла — и как бы не изменялась. Один мой знакомый журналист, весьма пожилой человек, когда-то, в молодости, работавший в Республике, а в начале пятидесятых изгнанный оттуда в качестве безродного космополита, время от времени с тоской вспоминал молодые годы; ему то время потерянной молодости казалось прекрасным. В республике он с тех пор не был ни разу и все мечтал съездить туда в командировку. Хотя никого, кроме одного-единственного бывшего сослуживца, там у него не оставалось. И вот мечта исполнилась! Прибыл он поездом, переночевал у сослуживца. Утром, впервые за тридцать с лишним лет, опять вышел на главную улицу главного города, остановился у аптеки, решая, куда отправиться поначалу. И вдруг услышал свое имя, выкрикнутое с местным акцентом:

— Самуел Григорич!

Знакомый был чудовищно близорук; оглянувшись, он увидел только, что с другой стороны улицы к нему бегом устремляется фигура неясных очертаний. Фигура оказалась местным жителем средних лет, совершенно ему незнакомым.

— Самуел Григорич! — сказал запыхавшийся от бега незнакомец. — Хорошо, вас увидел... а я к вам обком шел!

Перед своим изгнанием из республики, те же тридцать с лишком лет назад, знакомый мой действительно несколько месяцев работал в обкоме...

Как-то осенью, в разгар подписной кампании, приехал сюда сотрудник русского журнала «головной» союзной республики — проводить рекламные читательские конференции. Обкомовское начальство подсоединило к нему редактора местного национального журнала, а тот пригласил гостя к себе домой.

— Уст, — сказал он, входя с ним в парадную комнату, — мой библиотека...

Действительно, всю громадную боковую стену занимали книжные стеллажи до потолка, набитые битком. «Да-а...» — сказал гость с почтением и подошел к полкам. Книги, однако, стояли в странном порядке. Некоторые — вверх ногами, перемешаны были тома на русском, местном национальном, на языках чуть не всех соседних республик; а главное — подряд стояли недавние романы и гинекологический учебник, пособия для трактористов и монографии по химии, соцреализму и холодной обработке металлов, советы слесарю-надомнику и японский разговорник...

— Уот! — сказал хозяин, горделиво оглядывая свою книжную панораму, — все один ден купил!.. Вчера нам сказал — Симонов приедет, завтра — все купил!..

Наутро поехали по районам. Поездка была рассчитана на неделю. Уже во втором районе гость сообразил, что каждый раз по приезде они останавливаются в доме, где есть хозяйка, более или менее многочисленные дети, но никаких признаков хозяина. Впрочем, именно редактор-то и вел себя как хозяин!.. В первом же таком доме он уверенно повел гостя в парадное помещение — единственное, как потом оказалось, где стоял стол и два стула, в прочих были только ковры на полу; войдя, снял пиджак и аккуратно повесил на спинку стула, потом снял брюки, сложил и так же аккуратно повесил на второй стул...

— А зачем вы брюки-то снимаете? — изумленно спросил гость.

— А чтоб не помялись!..

У гостя, прожившего на Востоке полжизни, сразу зароились подозрения, что всем этим домам хозяин и есть сам редактор, а хозяйки и дети — его жены и потомство. Хотя, с другой стороны, трудно было себе представить — не редакторское многоженство, конечно! — а то, что он в силах содержать каждую семью в отдельном доме, в разных районах... Впрочем, именно в разных! Иначе ему и нельзя... Как-никак, коммунист, номенклатура... На удивление гостя, на третий или четвертый день редактор сам во всем признался, жалуясь, как же трудно ему приходится. Он вообще проникся к гостю необычайным расположением. И делился с ним многочисленными своими заботами. Еще в первый день поездки он сказал со вздохом, между прочим:

— Э-э... Когда назад придем? Пятнису? Пятниса мне издательство падесят шестой том Ленин сдавать... наш язык!

Гость посмотрел на него с некоторым почтением. Но когда он с тем же вздохом повторил это во второй, третий раз, гость спросил осторожно:

— А рукопись... что... уже у вас готова?..

— Э-э, готов, — сказал редактор. — Возьмем том казахским языке — и сдадим. Один и то же!..

— И что... будет считаться ваш перевод?

— Ка-нешна! — беззаботно сказал редактор...

Я тоже ездил туда, но много позже — когда подобострастное радушие по отношению ко всем приезжающим из «головной» республики, а тем паче из самой Москвы уже явно пошло на спад. Уже не помещали всех подряд на обкомовской даче, уже не давали всем подряд республиканских премий, почетных званий и дорогих подарков. За благодушной бессмыслицей и невинным, казалось бы, идиотизмом этого бытия стал уже проступать оскал все разевшей коррупции и роковой, чудовищный облик невиданного экологического бедствия.

За несколько лет до первого моего приезда в Республику был я в соседней области, что на той же великой реке, и оказался в колхозе на ее берегу. Мне предложили:

— На катер... пакатаца хочиш? Тут дегиш был... пасмотриш!

Я знал, что такое «дегиш». Могучая рыжая река несет миллионы тонн наносов, откладывает их там и сям и однажды сама упирается в них, как в запруды. И начинает штурм, с дикой силой отрывая куски берега и меняя русло...

Мы подплыли. «Дегеш» уже свершился. Но вода еще бесновалась, рвалась вперед с чудовищной, безумной направленностью. Я не раз видел море в бурю, но такого впечатления неодолимой, а главное, сосредоточенной мощи и оно не производило. Этой силе, казалось, не может быть извода.

А еще через пару лет в аэропорту той же области мне сказали:

— Знаешь — Река-то... в Республике рядом... остановилась!

— Как — остановилась? Ты что-о?!..

— Да, да. Кончилась под городом. Иссякла. Не течет в море-то... Как местные это узнали, стали приезжать с баранами, резать на том месте, русло кровью кропить... А увидели — не помогает, ну и откочевывать стали... Да, да.

И в первый мой приезд в Республику меня на это самое место повезли. Перед большим мостом стоял широкий разлив — правда, прежде, сказали мне, он бывал втрое шире! — но за мостом уже тянулась тонкая цепь луж. Еще через год такие же лужи я увидел уже на месте разлива. Мост сделался дамбой, за ним — сухое русло. И мелкий лесок вырос.

Как сказал мне с грустной покорностью судьбе один тамошний председатель колхоза, сам не сознавая горькой игры своих слов:

— У нас пресный вода немножко соленый стал...

К тому времени перестройка набрала силу. Тех, что заправляли Республикой последние полтора — два десятилетия, уже смели, они большею частью давали показания следователям. Их обвиняли в огромных взятках, украденных у государства рублях, в присвоении имущества на миллионы... Но, кажется, никто так и не обвинил их в безудержном запахивании степных массивов, отравлении пашни, воды и воздуха, в бессмысленных переполывах, из-за чего иссякла Река, высохло Море, истощалась и поднимала на поверхность глубинные соли несчастная Земля...

Пришли новые. В последний мой приезд я видел этих новых. Даже самоновейших. И притом всех разом. Оказался на свадьбе, которую устроил сыну уважаемый местный литератор. В последний день свадьбы, вечером, все начальство республики явилось к нему после сессии Верховного Совета. Пили. Водка кончалась и появлялась на столе снова. Казалось, конца этому не будет. Пили, пили, пили. Упившись в дупель, часа в два ночи, говорили, перебивая друг друга:

— Надо, шоб народ нас понял... Понял? Наро-од! Народ, понял? Понял! Поедем в северный район, там... там дом культуры хороший... Хоро-оший дом культуры! Банкет устроим! Пить будем! А потом к людям выйдем, понял? И поцелуемся друг с другом... Понял? Чтоб народ видел — мы дружим... Дружим, понял! Мы — друзья! Вот тогда... тогда народ поймет... он, народ, понимает...

В тот день на сессии приняли закон о суверенитете Республики.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| От автора .....                  | 3  |
| Михал Иваныч .....               | 5  |
| Первый избиратель .....          | 7  |
| Блудный сын .....                | 7  |
| Очень краткая история .....      | 9  |
| Памятник .....                   | 10 |
| Раскрыл .....                    | 13 |
| Хороший человек .....            | 13 |
| Песня .....                      | 14 |
| Тайный агент Вася .....          | 14 |
| Первый секретарь .....           | 17 |
| Песня про котят .....            | 19 |
| Сталинская премия .....          | 20 |
| Гимн .....                       | 22 |
| Раиса Петровна .....             | 25 |
| Капуста .....                    | 28 |
| Хамро Махмудов .....             | 31 |
| Перспектива .....                | 35 |
| Встреча .....                    | 35 |
| Панихида .....                   | 36 |
| Солоухин .....                   | 37 |
| Галкин .....                     | 38 |
| Светлов .....                    | 39 |
| Рассказ старого человека .....   | 42 |
| Дерево .....                     | 44 |
| Дверь в Праге .....              | 44 |
| На шоссе .....                   | 45 |
| Закон опечатки .....             | 45 |
| В эпоху ускорения .....          | 47 |
| Ашрафи .....                     | 47 |
| Такие русские интеллигенты ..... | 48 |

|  |     |
|--|-----|
| Семья Ульяновых .....                                  | 49  |
| Формула счастья .....                                  | 50  |
| Телефончик .....                                       | 51  |
| Отец и сын .....                                       | 53  |
| Рассказ доверенного лица .....                         | 55  |
| Наследник .....  | 58  |
| Трудный язык .....                                     | 59  |
| Снайпер .....  | 61  |
| Книга .....  | 63  |
| На даче .....  | 64  |
| Самый нищий колхоз .....                               | 64  |
| Разговор с президентом .....                           | 67  |
| Фрол Романович .....                                   | 70  |
| Кольшки .....  | 72  |
| С партийной прямой .....                               | 75  |
| Фотограф .....   | 78  |
| Круглая печать .....                                   | 83  |
| Старухи .....  | 84  |
| Семейство .....  | 87  |
| Горские евреи .....                                    | 87  |
| Якутский вариант .....                                 | 89  |
| Переекзаменовка .....                                  | 90  |
| Недосып .....  | 91  |
| Спор .....   | 91  |
| В метро .....  | 91  |
| В зоопарке .....                                       | 92  |
| Одесское .....   | 93  |
| Первый прозаик .....                                   | 98  |
| По объявлению .....                                    | 99  |
| Псих .....   | 100 |
| Проданная теща .....                                   | 103 |
| Был у нас молодой, отважный комиссар бронепоезда... .. | 108 |
| Вдова .....  | 112 |
| Гена Снехерев .....                                    | 116 |
| Сашка .....  | 119 |
| Части речи .....                                       | 120 |
| Свинарь .....  | 120 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Папаша .....                   | 121 |
| Конферансье .....              | 123 |
| Смерть Черненко .....          | 125 |
| Трольда .....                  | 126 |
| Драгоценности .....            | 128 |
| На заправке .....              | 129 |
| Возврат .....                  | 129 |
| Бросил .....                   | 131 |
| Гармонь .....                  | 132 |
| Воистину воскресе .....        | 133 |
| Протокол .....                 | 134 |
| Маленькие хитрости .....       | 134 |
| Новый директор .....           | 136 |
| А вам, гражданин... ..         | 136 |
| Правка .....                   | 137 |
| Кто это написал .....          | 139 |
| Учительница .....              | 139 |
| В Карабахе .....               | 140 |
| Из блокады .....               | 142 |
| Братья и сестры писатели ..... | 144 |
| Письма.....                    | 145 |
| Парторг .....                  | 145 |
| Генерал и свита .....          | 150 |
| На путях .....                 | 150 |
| Хайр-опа .....                 | 151 |
| Непринципальный человек .....  | 156 |
| Машина .....                   | 157 |
| Сильная медицина .....         | 157 |
| Нарком Зверев .....            | 157 |
| Презерватив для собаки .....   | 160 |
| Скользящий график .....        | 161 |
| Мужик .....                    | 163 |
| Чушка .....                    | 164 |
| Детская комната .....          | 165 |
| Дорогой .....                  | 166 |
| Голубая мечта .....            | 166 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Победитель .....     | 168 |
| Пушкин .....         | 168 |
| Последний эпос ..... | 170 |
| В больнице .....     | 177 |
| В Загорске .....     | 180 |
| Республика .....     | 186 |
| Содержание .....     | 193 |

### Издательство «КИЕВ» –

это фирма, работающая  
на новейших компьютерах;

#### **Издательство «КИЕВ» –**

это фирма, где набирают книги и газеты,  
журналы и брошюры, проспекты и буклеты,  
листовки и многое другое;

#### **Издательство «КИЕВ» –**

это грамотный набор текста с соблюдением всех  
законов наборного дела и технологии;

#### **Издательство «КИЕВ» –**

это хороший вкус и оригинальный дизайн;

#### **Издательство «КИЕВ» –**

это 48 лет опыта и высокая квалификация;

#### **Издательство «КИЕВ» –**

это приемлемые расценки на все виды работ  
для писателей и поэтов, журналистов  
и мемуаристов, для всех русских,  
желающих что-либо издать;

#### **Издательство «КИЕВ» –**

это набор текста на всех  
западноевропейских языках.

Вот что такое –

### Издательство «КИЕВ»!

По всем интересующим

вопросам звоните:

**(718) 266-5810**